

**Артур Шопенгауэр**

# **Афоризмы житейской мудрости**

## **Глава первая. ОСНОВНОЕ ДЕЛЕНИЕ**

Аристотель (Eth. Nicom. I, 8) разделил блага человеческой жизни на 3 группы: блага внешние, духовные и телесные. Сохраняя лишь тройное деление, я утверждаю, что все, чем обуславливается различие в судьбе людей, может быть сведено к трем основным категориям.

1) Что такое человек: – т. е. личность его в самом широком смысле слова. Сюда следует отнести здоровье, силу, красоту, темперамент, нравственность, ум и степень его развития.

2) Что человек имеет: – т. е. имущество, находящееся в его собственности или владении.

3) Что представляет собою человек; этими словами подразумевается то, каким человек является в представлении других: как они его себе представляют; – словом это – мнение остальных о нем, мнение, выражающееся вовне в его почете, положении и славе.

Перечисленные в первой рубрике элементы вложены в человека самой природой; из этого уже можно заключить, что влияние их на его счастье или несчастье значительно сильнее и глубже того, какое оказывается факторами двух других категорий, создающимися силами людей. По сравнению с истинными личными достоинствами – обширным умом или великим сердцем – все преимущества, доставляемые положением, рождением, хотя бы царственным, богатством и т. п. оказываются тем же, чем оказывается театральная корона по сравнению с настоящим. Метродор, первый ученик Эпикура, так начинает одну из своих глав: «То, что находится внутри нас, более влияет на наше счастье, чем то, что вытекает из вещей внешнего мира» (см. Clemens Alex. Strom 11, 21, стр. 362 Вюрцбургского издания) . Действительно, вполне бесспорно, что для блага индивидуума, даже больше – для его бытия, самым существенным является то, что в нем самом заключается или происходит. Только этим и обуславливается его чувство удовлетворения или неудовольствия, – являющееся ближайшим образом результатом ощущений, желаний и мыслей; все, лежащее вне этой области, имеет лишь косвенное влияние на человека. Потому-то одни и те же внешние события влияют на каждого совершенно различно; находясь в одинаковых обстоятельствах, люди все же живут в разных мирах. Непосредственно человек имеет дело лишь со своими собственными представлениями, ощущениями и движениями воли; явления внешнего мира влияют на него лишь постольку, поскольку ими вызываются явления во внутреннем мире. Мир, в котором живет человек, зависит прежде всего от того, как его данный человек понимает, а следовательно, от свойств его мозга: сообразно с последним мир оказывается то бедным, скучным и пошлым, то наоборот, богатым, полным интереса и величия. Обыкновенно завидуют тем, кому в жизни удавалось сталкиваться с интересными событиями; в таких случаях скорее стоит завидовать той собственности к восприятию, которая придает событию тот интерес, то значение, какое он имеет на взгляд рассказчика; одно и то же происшествие, представляющееся умному человеку глубоко интересным, превратилось бы, будучи воспринято пустельким пошляком, в скучнейшую сцену из плоской обыденщины. Особенно ясно это сказывается в некоторых стихотворениях Гете и Байрона, описывающих, по-видимому, действительно случившиеся происшествия: недалекий читатель склонен в таких случаях завидовать поэту в том, что на его долю выпало это происшествие, вместо того, чтобы завидовать его могучему воображению, превратившему какое-нибудь повседневное событие в нечто великое и красивое. Меланхолик примет за

трагедию то, в чем сангвиник увидит лишь интересный инцидент, а флегматик – нечто, не заслуживающее внимания. Происходит это оттого, что действительность, т. е. всякий осуществившийся факт, состоит из двух половин: из субъективной и объективной, столь же необходимо и тесно связанных между собою, как водород и кислород в воде. При тождественных объективных и разных субъективных данных или наоборот, получатся две глубоко различные действительности: превосходящие объективные данные при тупой, скверной субъективной половине создадут в результате очень плохую действительность, подобно красивой местности, наблюдаемой в дурную погоду или через скверное стекло. Проще говоря, человек так же не может вылезти из своего сознания, как из своей кожи, и непосредственно живет только в нем; потому-то так трудно помочь ему извне. На сцене один играет князя, другой

– придворного, третий – слугу, солдата или генерала и т. п. Но эти различия суть чисто внешние, истинная же, внутренняя подкладка у всех участников одна и та же: бедный актер с его горем и нуждою. Так и в жизни. Различие в богатстве, в чине отводят каждому особую роль, но отнюдь не ею обуславливается распределение внутреннего счастья и довольства: и здесь в каждом таится один и тот же жалкий бедняк, подавленный заботами и горем, которое, правда, разнообразится в зависимости от субъекта, но в истинном своем существе остается неизменным; если и существует разница в степени, то она ни в коей мере не зависит от положения или богатства субъекта, т. е. от характера его роли.

Так как все существующее и происходящее существует и происходит непосредственно лишь в сознании человека, то, очевидно, свойства этого сознания существеннее всего и играют более важную роль, чем отражающиеся в нем образы. Все наслаждения и роскошь, воспринятые туманным сознанием глупца, окажутся жалкими по сравнению с сознанием Сервантеса, пишущего в тесной тюрьме своего Дон-Кихота.

Объективная половина действительности находится в руках судьбы, и потому изменчива; субъективное данное – это мы сами; в главных чертах оно неизменно. Вот почему жизнь каждого носит, несмотря на внешние перемены, с начала до конца один и тот же характер; ее можно сравнить с рядом вариаций на одну и ту же тему. Никто не может сбросить с себя свою индивидуальность. В какие условия ни поставить животное, оно всегда останется заключенным в том тесном круге, какой навеки очерчен для него природой, – почему, например, наше стремление осчастливить любимое животное может осуществиться вследствие этих границ его существа и сознания лишь в очень узких рамках. Так же и человек: его индивидуальность заранее определяет меру возможного для него счастья. Особенно прочно, притом навсегда, его духовные силы определяют способность к возвышенным наслаждениям. Раз эти силы ограничены, то все внешние усилия, все, что сделают для человека его ближние и удача, – все это не сможет возвысить человека над свойственным ему полуживотным счастьем и довольством; на его долю останутся чувственные удовольствия, тихая и уютная семейная жизнь, скверное общество и вульгарные развлечения. Даже образование может лишь очень мало содействовать расширению круга его наслаждений; ведь высшие, самые богатые по разнообразию, и наиболее привлекательные наслаждения – суть духовная, как бы мы в юности ни ошибались на этот счет; – а такие наслаждения обусловлены прежде всего нашими духовными силами.

Отсюда ясно, насколько наше счастье зависит от того, что мы такое, от нашей индивидуальности; обычно же при этом учитывается только судьба, – т. е. то, что мы имеем, и то, что мы собою представляем. Но судьба может улучшиться; к тому же при внутреннем богатстве человек не станет многого от нее требовать. Глупец всегда останется глупцом, и тупица – тупицей, будь они хоть в раю и окружены гуриями. Гете говорит:

«Volk und Knecht und Uberwinder Sie gestehn zu jeder Zeit Ничстес Гльк der Erdenkinder Sie nur die Perscnlichkeit»<sup>1</sup>.

---

1 Народы, рабы и победители всегда признавали, что высшее благо человека – его личность.

Что субъективная сторона несравненно важнее для нашего счастья и довольства, чем объективнее данные – это легко подтверждается хотя бы тем, напр., что голод – лучший повар, или что старик равнодушно смотрит на богиню юности – женщину, или, наконец, жизнью гения или святого. Особенно здоровье перевешивает все внешние блага настолько, что здоровый нищий счастливее больного короля. Спокойный, веселый темперамент, являющийся следствием хорошего здоровья и сильного организма, ясный, живой, пронизательный и правильно мыслящий ум, сдержанная воля и с тем вместе чистая совесть – вот блага, которых заменить не смогут никакие чины и сокровища. То, что человек значит для самого себя, что сопровождает его даже в одиночестве и что никем не может быть подарено или отнято – очевидно существеннее для него всего, чем он владеет, и чем он представляется другим людям. Умный человек в одиночестве найдет отличное развлечение в своих мыслях и воображении, тогда как даже непрерывная смена собеседников, спектаклей, поездок и увеселений не оградит тупицу от терзающей его скуки. Человек с хорошим, ровным, сдержанным характером даже в тяжелых условиях может чувствовать себя удовлетворенным, чего не достигнуть человеку алчному, завистливому и злому, как бы богат он ни был. Для того, кто одарен выдающимся умом и возвышенным характером, большинство излюбленных массою удовольствий – излишни, даже более – обременительны. Гораций говорит про себя: «Есть люди, не имеющие ни драгоценностей, ни мрамора, ни слоновой кости, ни Тирренских статуй, ни картин, ни серебра, ни окрашенных Гетулийским пурпуром одежд; но есть и такие, кто не заботится о том, чтобы иметь их», а Сократ, при виде выставленных к продаже предметов роскоши, воскликнул: «Сколько существует вещей, которые мне не нужны».

Итак, для нашего счастья то, что мы такое, – наша личность – является первым и важнейшим условием, уже потому, что сохраняется всегда и при всех обстоятельствах; к тому же она, в противоположность благам двух других категорий, не зависит от превратностей судьбы и не может быть отнята у нас. В этом смысле ценность ее абсолютна, тогда как ценность других благ – относительна. Отсюда следует, что человек гораздо менее подвержен внешним влияниям, чем это принято думать. Одно лишь всемогущее время властвует и здесь: ему поддаются постепенно и физические, и духовные элементы человека; одна лишь моральная сторона характера недоступна ему. В этом отношении блага двух последних категорий имеют то преимущество перед благами первой, что время не может непосредственно их отнять. Второе преимущество их в том, что, существуя объективно, они достижимы по своей природе; по крайней мере перед каждым открыта возможность приобрести их, тогда как субъективная сторона не в нашей власти, создана *jure divino* неизменной раз навсегда. В этом смысле здесь вполне применимы слова Гете:

«Wie an dem Tag, der dich der Welt verliehen.

Die Sonne stand zum Grusse der Planeten Bist alsobald und fort und fort gediehen Nach dem Gesetz, wonach du angetreten.

So musst du sein, dir kannst du nicht entfliehen So sagten schon Sybollen, so Propheten; Und keine Zeit und keine Macht zerstückelt Geprägt Form, die lebend sich entwickelt" <sup>2</sup>.

Единственное, что мы в этом отношении можем сделать, это

– использовать наши индивидуальные свойства с наибольшей для себя выгодой, сообразно с этим развивать соответствующие им стремления, и заботиться лишь о таком развитии, какое с ними согласуется, избегая всякого другого; словом – выбирать ту должность, занятие, тот образ жизни, какие подходят к нашей личности.

Человек геркулесовского сложения, необычайной физической силы, вынужденный в силу внешних обстоятельств вести сидячую жизнь за кропотливой ручной работой, за научным или умственным трудом, требующим совершенно иных, неразвитых у него сил,

---

<sup>2</sup> Как в день, подаривший тебя миру, солнце приветствовало светила, так и ты рос по тем же законам, какие вызвали тебя к жизни. Таким ты всегда останешься; нельзя уйти от самого себя; – так говорили сибиллы и пророки; никакая власть, никакое время не могут разбить раз созданной и развивающейся формы жизни.

оставляющий неиспользованными те силы, которыми он так щедро наделен – такой человек всю жизнь будет несчастлив; еще, впрочем, несчастнее будет тот, в ком преобладают интеллектуальные силы и кто, оставляя их неразвитыми и неиспользованными, вынужден заниматься каким-либо простым, не требующим вовсе ума делом или даже физическим трудом, ему непосильным. Особенно в юности следует остерегаться приписывания себе избытка сил, которого на самом деле нет.

Из бесспорного перевеса благ первой категории над благами других двух вытекает, что благоразумнее заботиться о сохранении своего здоровья и о развитии способностей, чем о приумножении богатств; но этого не следует понимать в том смысле, будто надо пренебрегать приобретением всего необходимого или просто привычного нам. Подлинное богатство, т. е. большой избыток средств, немного способствует нашему счастью; если многие богачи чувствуют себя несчастными, то это оттого, что они не причастны истинной культуре духа, не имеют знаний, а с тем вместе и объективных интересов, которые могли бы подвигнуть их к умственному труду. То, что может дать богатство сверх удовлетворения насущных и естественных потребностей, мало влияет на наше внутреннее довольство: последнее скорее теряет от множества забот, неизбежно связанных с сохранением большого состояния. Тем не менее люди в тысячу раз более заняты приобретением богатства, чем культурой духа, как ни очевидно, что то, чем мы являемся на самом деле, значит для нашего счастья гораздо больше, чем то, что мы имеем.

Сколько людей, в постоянных хлопотах, неумоимо, как муравьи, с утра до вечера заняты увеличением уже существующего богатства; им чуждо все, что выходит из узкого круга направленных к этой цели средств: их пустая душа невосприимчива ни к чему иному. Высшие наслаждения – духовные – недоступны для них; тщетно стараются они заменить их отрывочными, мимолетными чувственными удовольствиями, требующими мало времени и много денег. Результаты счастливой, сопутствуемой удачей, жизни такого человека выразятся на склоне его дней в порядочной кучке золота, увеличить или промотать которую предоставляется наследникам. Такая жизнь, хотя и ведется с большою серьезностью и важностью, уже в силу этого так же глупа, как всякая, осуществляющая девиз дурацкого колпака.

Итак, то, что каждый имеет в себе, важнее всего для его счастья. Только потому, что счастья по общему правилу очень мало, большинство победивших в борьбе с нуждой чувствуют себя в сущности столь же несчастными, как те, кто еще борется с нею. Их внутренняя пустота, расплывчатость их сознания и бедность духовная гонят их в общество, которое, однако, состоит из им же подобных – *similis simili gaudet*. Тут предпринимается общая погоня за развлечениями, которых в начале ищут в чувственных наслаждениях, в различных удовольствиях и в конце концов – в излишествах. Источником той пагубной расточительности, благодаря которой столь многие сыновья, вступающие в жизнь богачами, проматывают огромные наследства, – является исключительно скука, вытекающая из только что описанной духовной несостоятельности и пустоты. Такой юноша, вступив в жизнь богатым с внешней стороны, но бедняком по внутреннему содержанию, тщетно старается заменить внутреннее богатство внешним, приобрести все извне, – подобно старцу, ищущему почерпнуть новых сил в молодости окружающих. Эта внутренняя бедность и приводит в конце концов к внешней.

Излишне разъяснять важность двух других категорий жизненных благ: ценность богатства ныне настолько общепризнана, что не нуждается в комментариях. Третья категория – мнение других о нас, представляется по сравнению со второй – малоосязательной. Однако заботиться о чести, т. е. о добром имени, должен каждый, о чине – лишь тот, кто служит государству, и о славе – лишь немногие. В то же время честь считается неопределимым благом, а слава – самым ценным, что только может быть добыто человеком – золотым руном избранных, тогда как предпочитать чин богатству могут лишь дураки. В частности вторая и третья категории находятся в некотором взаимодействии; – здесь

применимы слова Петрония: «habes – haheberis»<sup>3</sup>; доброе мнение других, как бы оно ни выражалось – часто расчищает путь к богатству и наоборот.

## Глава вторая. О ТОМ, ЧТО ТАКОЕ ЧЕЛОВЕК

В принципе мы согласились, что наше истинное «я» гораздо более обуславливает наше счастье, чем то, что мы имеем, или что мы собою представляем. Всегда самое важное, это то, что такое данный человек, – что он имеет в себе самом; ведь его индивидуальность сопутствует ему всюду и всегда, придавая ту или иную окраску всему переживаемому. В конце концов источником всех наших наслаждений являемся мы сами; это относится и к физическим, а тем паче и к духовным наслаждениям. Английское выражение – «to enjoy one's self» – очень метко; в этом смысле *he enjoys himself in Paris* не значит «он наслаждается Парижем», а «он наслаждается собою в Париже».

Если наша личность плоха, то испытываемые нами наслаждения уподобляются ценному вину, вкушаемому человеком, у которого во рту остался вкус желчи. Поэтому и в счастье, и в горе, исключая разве случаи тяжелых бед, то, что случается с человеком в жизни, менее важно, чем то, как он воспринимает эти события – т. е. каковы способы и степень его восприимчивости во всех отношениях. То, что мы имеем в себе – наша личность и подлинная ценность ее – является единственным непосредственным фактором нашего счастья и довольства; все остальные факторы – влияют лишь косвенно и действие их может быть парализовано, тогда как личность проявляет свое влияние всегда. Потому-то зависть к личным достоинствам – самая непримиримая и скрывается особенно тщательно. Лишь свойства сознания пребывают неизменными и непреложными, только индивидуальность действует постоянно, непрерывно, более или менее сильно в различные моменты, тогда как все остальное проявляет свое влияние временами, случайно, и к тому же само подвержено изменениям и гибели; Аристотель справедливо замечает: «вечна природа, но не вещи» (*Eth. Eud. УП, 2*). Вот почему мы переносим свалившееся на нас извне несчастье с большою покорностью, чем происшедшее по нашей вине: судьба может измениться, личные же наши свойства никогда.

Итак, субъективные блага, как-то благородный характер, большие способности, счастливый, веселый нрав и вполне здоровое тело, – словом, «*mens sana in corpore sano*» (*Juvenal Sat. X, 356*) – являются первым и важнейшим условием нашего счастья; сообразно с этим, мы должны гораздо больше заботиться об их развитии и сохранении, чем о приобретении внешних благ и почестей.

Из личных свойств непосредственное всего способствует нашему счастью веселый нрав; это прекрасное качество немедленно же находит награду в самом себе. Кто весел, – тот всегда имеет причину быть таковым; причина эта – его веселый нрав. Ничто не способно в такой мере заменить любое другое благо, как это свойство. Если человек молод, красив, богат и уважаем, то, чтобы судить о его счастье, надо еще знать, весел ли он; тогда как если он весел, то безразлично, стар он или молод, прям или горбат, богат или беден – он счастлив. В ранней юности попалась мне в старой книге следующая фраза: «кто много смеется

– счастлив, кто много плачет – несчастлив» – крайне простодушный афоризм, который я, однако, не забыл именно из-за его примитивной правдивости; хотя по существу это – чистейший трюизм и ничего больше. Поэтому всякий раз, как в нас появляется веселость, мы должны всячески идти ей навстречу; она не может появиться не вовремя; между тем мы часто еще колеблемся, открыть ли ей путь; желаем предварительно выяснить, имеем ли мы достаточный повод быть довольными. Иногда это происходит из опасения, чтобы веселье не помешало нашим серьезным размышлениям и важным заботам; однако, что нам могут дать

---

3 Имеешь одно – будешь иметь и другое.

эти серьезные занятия – это еще большой вопрос, тогда как веселость приносит нам непосредственную, прямую выгоду. Только она является наличной монетой счастья; все другое – кредитные билеты. Непосредственно давая нам счастье в настоящем, она является высшим благом для существ, действительность коих осуществляется в неделимом настоящем между двумя бесконечностями времени. Потому первой нашей заботой должно быть приобретение и приумножение этого сокровища. Не подлежит сомнению, что ничто так не вредит веселости, как богатство, и ничто не способствует ей больше, чем здоровье: у низшего, трудящегося люда, особенно у землепашцев, обычно выражение лица

– веселое и довольное, тогда как на лицах богатых, «приличных» людей большею частью написана скука. Следовательно, прежде всего мы должны стараться сохранить хорошее здоровье, на почве которого только и может вырасти веселость. Средства к этому – несложные: избегать всех эксцессов, излишеств, бурных и неприятных волнений, а также чересчур напряженного и продолжительного умственного труда; далее – усиленное движение на свежем воздухе в течение по крайней мере двух часов, частое купанье в холодной воде и тому подобные гигиенические меры. Без достаточного ежедневного движения нельзя сохранить здоровье; жизненные процессы могут совершаться правильно лишь при условии движения как тех органов, в которых они происходят, так и всего организма. Аристотель справедливо заметил: «жизнь заключается в движении». Движение сущность жизни. Во всех тайниках организма царит беспрестанное, быстрое движение: сердце с его сложной двойной функцией – расширения и сжатия – бьется неустанно; в 28 пульсации оно заставляет всю кровь совершить большой и малый круг кровообращения; легкие, непрерывно, как машина, накачивают воздух; кишки постоянно производят перистальтические движения; железы безостановочно вырабатывают разные продукты; даже мозг получает двойное движение: от биения сердца и от вдыхания легких. Если же, как это бывает с огромным количеством людей, ведущих сидячую жизнь, внешнее движение совершенно отсутствует, то возникает резкое и пагубное несоответствие между внешним покоем и внутренним движением. Ввиду того, что постоянное внутреннее движение требует известной поддержки извне, – несоответствие это будет в сущности аналогично тому, какое получается, когда мы, благодаря какому-либо аффекту, испытываем сильнейшее волнение, но не смеем его обнаружить. Даже деревьям, для правильного их роста, необходимо движение, доставляемое им ветром. Здесь применимо правило, которое можно формулировать так: «движение, чем оно быстрее, тем оно больше движение».

Насколько наше счастье зависит от веселости, а эта последняя от состояния здоровья, – это станет ясным, если сравнить впечатление, производимое одними и теми же внешними обстоятельствами или событиями в те дни, когда мы здоровы и сильны с тем, какое получается, когда благодаря болезни мы настроены угрюмо и мнительно. Нас делает счастливым и несчастным не то, каковы предметы в действительности, а то, во что мы их путем восприятия превращаем. Это именно и говорит Эпиктет:

«людей волнуют не сами вещи, а мнение о вещах».

Вообще 9/10 нашего счастья основано на здоровье. При нем все становится источником наслаждения, тогда как без него решительно никакое внешнее благо не может доставить удовольствия; даже субъективные блага: качества ума, души, темперамента при болезненном состоянии ослабевают и замирают. Отнюдь не лишено основания, что мы прежде всего спрашиваем друг друга о здоровье и желаем его друг другу: оно поистине главное условие человеческого счастья. Отсюда вывод тот, что величайшей глупостью было бы жертвовать своим здоровьем ради чего бы то ни было: ради богатства, карьеры, образования, славы, не говоря уже о чувственных и мимолетных наслаждениях; вернее, всем этим стоит пожертвовать ради здоровья.

Но как много ни способствует здоровье столь существенной для нашего счастья веселости, все же не только от него зависит эта последняя: с прекрасным здоровьем может уживаться меланхолический темперамент и преобладание грустного настроения. Основная их причина коренится без сомнения в прирожденных, а посему неизменных свойствах

организма, в большинстве случаев в более или менее ненормальном соотношении между чувствительностью, раздражительностью и воспроизводительной способностью. Чрезмерный перевес чувствительности способствует резким переменам в настроении: краткие вспышки ненормальной веселости на основном фоне меланхолии. Правда, гений обуславливается именно избытком нервной энергии, т. е. чувствительности и Аристотель (Probl., 30, 1) справедливо подметил, что все знаменитые и выдающиеся люди были меланхоликами – мысль, на которую впоследствии ссылался Цицерон (Tusc. I, 33). Чрезвычайно характерно это прирожденное различие основных черт темперамента описано Шекспиром в «Венецианском купце» (сц. I):

«Забавных чудаков В свои часы природа сотворяет:

Один – глядя – все щурится и все Волюнки звук: а у другого вид Так уксусен, что уверяй сам Нестор, Что вещь смешна – не обнаружит он Своих зубов улыбкою веселой».

Платон это же различие определил словами: *eucholos* и *dyscholos* – человек легкого и человек тяжелого нрава. Противоположением этим выражается чрезвычайно разнообразная у различных людей восприимчивость к приятным и неприятным впечатлениям, сообразно с коей один смеется над тем, что другого способно привести в отчаяние; притом, обычно восприимчивость к приятным впечатлениям тем слабее, чем сильнее воспринимаются неприятные, и наоборот. При одинаковой вероятности счастливого или неудачного исхода какого-либо дела *dyscholos* будет сердиться и печалиться при неудаче, при счастливом же обороте дела – не будет радоваться; в то же время *eucholos* не будет ни досадовать, ни скорбеть о неудаче, счастливому же исходу – обрадуется. Если *dyscholos* будет иметь успех в 9 предприятиях из 10, то это ему не доставит радости, но он будет опечален единственным неудавшимся, тогда как *eucholos* сумеет даже при обратной пропорции найти утешение и радость в единственной удаче.

Впрочем, всякое зло имеет свою хорошую сторону; так и в данном случае. На долю людей, обладающих мрачным и мнительным характером, выпадает больше таких горестей и страданий, которые существуют лишь в их воображении, – чем на долю *eucholos*; но зато реальные неудачи будут в их жизни реже, чем у последних: кто видит все в черном свете и готов к худшему, тот ошибается реже в своих расчетах, чем человек, смотрящий на жизнь сквозь розовые очки.

Если прирожденная «тяжеложелчность» сочетается с болезненной чуткостью нервной системы, или с расстройством органов пищеварения, то эта черта грозит развиться настолько, что постоянное недовольство жизнью может выродиться в пресыщение ею и создаст склонность к самоубийству. При таких условиях поводом к последнему могут послужить самые ничтожные неприятности; при особенно серьезном расстройстве даже и их не нужно: человек останавливается на самоубийстве под давлением одного лишь постоянного недовольства, и замысел этот выполняется с хладнокровной обдуманностью и с твердой решимостью. Больной, обычно попадающий под надзор, направляет всю свою энергию на то, чтобы, воспользовавшись малейшим ослаблением надзора, без колебаний, борьбы и боязни прибегнуть к естественному и желанному для него способу освобождения от страданий. Подробно это состояние описано в «Душевных болезнях» Эскироля. Правда, при известных условиях вполне здоровый, даже чрезвычайно веселый человек способен решиться на самоубийство; это случается, если тяжесть страданий или неизбежно приближающегося несчастья пересилит страх смерти. Вся разница

– в размерах повода, достаточного для принятия такого решения. Размер этот находится в обратной зависимости с меланхолией. Чем она резче, тем ничтожнее может быть причина самоубийства, доходя в конце концов до нуля. Чем больше в человеке бодрости и поддерживающего ее здоровья, тем важнее должна быть причина. Бесконечным числом промежуточных ступеней отделены друг от друга два крайних вида самоубийства: вытекшего из болезненного роста врожденной меланхолии, – и предпринятого здоровым, веселым человеком исключительно под давлением внешних причин.

В известной мере здоровью родственна красота. Хотя это субъективное благо и

способствует нашему счастью не непосредственно, а лишь косвенно, путем влияния на других людей, все же оно значит очень много, даже для мужчины. Красота

– это открытое рекомендательное письмо, заранее завоевывающее сердце. К ней применимы слова Гомера: «Не следует пренебрегать чудным даром бессмертных, который только они могут нам дать».

Даже при поверхностном наблюдении нельзя не заметить двух врагов человеческого счастья: горя и скуки. Надо прибавить, что поскольку нам удастся отдалиться от одного из них, постольку мы приближаемся к другому, и наоборот, так что вся наша жизнь протекает в более или менее частом колебании между этими двумя бедами. Это обусловливается тем, что оба зла состоят в двойном антагонизме друг с другом: во внешнем, объективном и во внутреннем, субъективном. С внешней стороны нужда и лишения порождают горе, а изобилие и обеспеченность – скуку. Сообразно с этим низшие классы находятся в постоянной борьбе с нуждой, т. е. с горем, а класс богатых, «приличных» людей – в непрерывной, часто поистине отчаянной борьбе со скукой. – Внутренний, субъективный антагонизм этих зол основан на том, что в каждом человеке восприимчивость к чему-либо одному находится в обратной зависимости с восприимчивостью к другому, будучи определена наличными душевными силами. Тупость ума всегда сочетается с притупленностью впечатлительности и с недостатком чувствительности, а эти свойства делают человека менее восприимчивым к страданиям и печалям всякого рода и размера. Но с другой стороны эта тупость ума порождает ту, запечатленную на бесчисленных лицах и выдающую себя постоянным интересом ко всем, хотя бы ничтожнейшим внешним событиям, – внутреннюю пустоту, которая является подлинным источником скуки, вечно толкая субъекта в погоню за внешними возбуждениями с целью хоть чем-нибудь расшевелить ум и душу. Такой человек неразборчив в выборе средств к этой цели; доказательство тому

– низкопробное времяпрепровождение, к которому прибегают такие люди, характер их общества и бесед, а также огромное число светских бездельников. Преимущественно из этой внутренней пустоты и вытекают погоня за обществом, развлечениями, за разными удовольствиями, роскошью, толкающей многих к расточительности, а затем – в нищету.

Ничто так не спасает от этих бед, как внутреннее богатство

– богатство духа: чем выше, совершеннее дух, тем меньше места остается для скуки. Нескончаемый поток мыслей, их вечно новая игра по поводу разнообразных явлений внутреннего и внешнего мира, способность и стремление к все новым и новым комбинациям их – все это делает одаренного умом человека, если не считать моментов утомлений, неподдающимся скуке.

С другой стороны, высокая интеллигентность обусловливается повышенной чувствительностью и коренится в большей интенсивности воли, т. е. в страстности. Сочетание ее с этими свойствами дает в результате чрезвычайную бурность аффектов, повышенную чувствительность к душевным и даже к физическим страданиям и большую нетерпеливость при каких-либо препятствиях или неприятностях; все эти свойства еще усиливаются благодаря живости впечатлений, в том числе и неприятных, которая обусловлена пылким воображением. Сказанное относится в соответственной мере и к промежуточным ступеням, заполняющим огромное расстояние между тупым дураком и великим гением. Словом, каждый, как объективно, так и субъективно, будет тем ближе к одному источнику человеческих страданий, чем он дальше от другого. Сообразно со своими естественными склонностями он так или иначе сделает выбор между объективным и субъективным злом, т. е. постарается оградить себя от причины тех страданий, к которым он наиболее восприимчив. Человек умный будет прежде всего стремиться избежать всякого горя, добыть спокойствие и досуг; он будет искать тихой, скромной жизни, при которой бы его не трогали, а поэтому, при некотором знакомстве с так называемыми людьми, он остановит свой выбор на замкнутой жизни, а при большом уме – на полном одиночестве. Ведь, чем больше человек имеет в себе, тем меньше требуется ему извне, тем меньше могут



дать ему другие люди. Вот почему интеллигентность приводит к необщительности. Если бы качество общества можно было заменить количеством, тогда стоило бы жить даже в «большом свете»; но к несчастью сто дураков вместе взятых не составят и одного здравомыслящего.

Человек другой крайности, как только нужда даст ему перевести дух, станет любой ценою отыскивать развлечений и общества, легко удовлетворяясь и избегая пуще всего самого себя. В одиночестве, где каждый предоставлен самому себе, такой человек видит свое внутреннее содержание; глупца в роскошной мантии подавляет его жалкая пустота, тогда как высокий ум оживляет и населяет своими мыслями самую невзрачную обстановку. Сенека правильно заметил: «всякая глупость страдает от своей скуки» (Ер. 9) ; не менее прав Иисус, сын Сираха: «жизнь глупца хуже смерти». Можно сказать, что человек общителен в той мере, в какой он духовно несостоятелен и вообще пошл; ведь в мире только и можно выбрать между одиночеством и пошлостью. Негры

– самый общительный, но также и самый отсталый в умственном отношении народ; по известиям французских газет из Северной Америки негры – свободные вперемежку с рабами – в огромном числе набиваются в теснейшие помещения; они – видите ли – не могут достаточно налюбоваться своими черными лицами с приплюснутыми носами.

Сообразно с тем, что мозг является паразитом, пенсионером всего организма, – добытые человеком часы досуга, предоставляя ему возможность наслаждаться своим сознанием и индивидуальностью, – является плодом, венцом его существования, которое в остальном заполнено заботами и трудом. Чем же заполняет большинство это свободное время? Скукой, очумелостью, если нет чувственных удовольствий, или какой-либо ерунды под руками. Способ использования досуга показывает, до какой степени досуг иной раз обесценивается; по словам Ариосто он часто является ничем иным, как «бездействием невежды». Средний человек озабочен тем, как бы ему убить время; человек же талантливый стремится его использовать.

Ограниченные люди потому так сильно подвержены скуке, что их разум является не более, как посредником в передаче мотивов воле. Если в данный момент нет под рукою внешних мотивов, то воля спокойна, и ум – в праздном состоянии: ведь как ум, так и воля не могут действовать по собственному импульсу. В результате – ужасающий застой всех сил человека, – скука. С целью ее прогнать, воле подсовывают мелкие, случайно, наугад выхваченные мотивы, желая ими возбудить волю и тем привести в действие воспринимающий их разум. Такие мотивы относятся к реальным, естественным мотивам так же, как бумажные деньги к звонкой монете: ценность их произвольна, условна. Таким мотивом является игра, – в частности – игра в карты, изобретенные именно с этой целью. Если нет игр, ограниченный человек берется за первую попавшуюся чепуху. Между прочим, сигара может послужить хорошим суррогатом мысли.

Вот почему во всем свете карточная игра сделалась главным занятием любого общества; она – мерило его ценности, явное обнаружение умственного банкротства. Не будучи в состоянии обмениваться мыслями, люди перебрасываются картами, стараясь отнять у партнера несколько золотых. Поистине жалкий род!

Чтобы не быть пристрастным, я не скрою того, что можно привести в извинение карточной игры: многие видят в ней подготовку к светской и деловой жизни, поскольку она научает разумно использовать созданные случаем неизменяемые обстоятельства (карты), с целью извлечь из них возможно больше. Имея в виду эту цель, человек развивает в себе «выдержку», учась при скверной игре сохранять веселый вид. Но с другой стороны именно этим карты оказывают развращающее влияние. Ведь суть игры в том, чтобы любым способом, какими угодно хитростями заполучить то, что принадлежит другому. Привычка действовать таким образом в игре постепенно укореняется и переходит в жизнь, так что в конце концов человек проводит этот принцип и в вопросах собственности: он готов считать дозволенным всякое имеющееся в его руках средство, если только оно не запрещено законом. Примеры тому доставляет ежедневно обыденная жизнь.

Если, как сказано выше, досуг является, так сказать, венцом человеческого существования, так как только он делает его полным обладателем своего «я», то счастливы те, кто при этом находят в себе нечто ценное; в большинстве же в часы досуга обнаруживается ни на что неспособный субъект, отчаянно скучающий и тяготящийся самим собою. Посему – «возрадуемся, братья, что мы дети не рабыни, а свободной» (Посл. к Гал. IV, 31).

Как счастливейшая страна та, которая нуждается лишь в малом ввозе, или совсем в нем не нуждается, – так и из людей счастлив будет тот, в ком много внутренних сокровищ, и кто для развлечения требует извне лишь немного или ничего. Подобный «импорт» обходится дорого, поработавшая нас, опасен, причиняет часто неприятности, и все же является лишь скверной заменой продуктов собственных недр. Ведь от других, вообще извне, нельзя ни в каком отношении ожидать многого. Границы того, что один может дать другому, – очень тесны; в конце концов человек всегда останется один, и тут-то и важно, кто остался один. Здесь применимы слова Гете, которым он придавал общий смысл: «всякий в конце концов оказывается предоставленным самому себе» и Оливера Гольдсмита: «предоставленные самими себе, мы вынуждены сами ковать и искать свое счастье» (The Traveller V, 431 и сл.).

Самым ценным и существенным должна быть для каждого его личность. Чем полнее это достигнуто, а следовательно – чем больше источников наслаждения откроет в себе человек, – тем счастливее будет он. Вполне прав был Аристотель, сказав: «счастье принадлежит тому, кто сам себя удовлетворяет» (Eth. Eud. VII, 2). Ведь все внешние источники счастья и наслаждений по своей природе крайне ненадежны, сомнительны, преходящи, подчинены случаю и могут поэтому иссякнуть даже при благоприятнейших условиях; даже более – это неизбежно, так как нельзя всегда иметь их под рукою. Во всяком случае почти все они иссякают к старости: нас покидают тогда любовь, шутливость, страсть к путешествиям, верховой езде и пригодность к обществу; наконец смерть лишает нас друзей и родных. В этом отношении, больше чем в каком либо ином, важно, что именно мы имеем в себе. Наши личные свойства сохраняются дольше всею. Впрочем, в любом возрасте они являются истинным, надежным источником счастья. – В мире вообще немного можно раздобыть: он весь полон нуждою и горем, тех же, кто их избег, подкарауливает на каждом шагу скука. К тому же, по общему правилу власть принадлежит дурному началу, а решающее слово – глупости. Судьба жестока, а люди жалки. В устроенном таким образом мире тот, кто много имеет в себе, подобен светлой, веселой, теплой комнате, окруженный тьмою и снегом декабрьской ночи. Поэтому высокая, богатая индивидуальность, а в особенности широкий ум,

– означают счастливейший удел на земле, как бы мало блеска в нем ни было. Поистине мудрым было изречение 19-летней королевы Шведской Христины о Декарте, известном ей по устным рассказам, да по одному из его произведений, и жившему уже 20 лет в полном уединении в Голландии: «Декарт – счастливейший из всех людей, и его жизнь кажется мне достойной зависти» (Vie de Desc. par Baillet, Liv. VII, ch. 10). Необходимо, однако, – как это было у Декарта – чтобы внешние условия были достаточно благоприятны, дабы человек мог найти самого себя и свободно собою располагать. В Экклезиасте (VII, 12) сказано: «Мудрость хороша при наследстве и помогает радоваться солнцу».

Кому, по милости природы или судьбы, выпал такой удел, тот с трепетной заботливостью будет следить, чтобы внутренний родник счастья всегда был ему доступен, условием чего являются независимость и досуг. Их он охотно добудет умеренностью и бережливостью; это для него тем легче, что он не вынужден – подобно другим – искать наслаждений вовне. Поэтому перспектива чинов, денег, благожелательности и одобрения света не соблазнит его отказаться от самого себя, и опуститься до низменных стремлений и дурных вкусов людей. Если представится случай, то он поступит как Гораций в письме к Мecenату (Lib. I, ep.7).

Вообще крайне глупо лишаться чего-либо внутри себя с тем, чтобы выиграть вовне, т. е. жертвовать покоем, досугом и независимостью, – целиком или в большей части – ради

блеска, чина, роскоши, почета или чести. Так, однако, поступал Гете; меня же мой гений решительно влек в другом направлении.

Приведенная здесь истина, гласящая, что источник счастья берет свое начало в самом человеке, находит подтверждение в верном замечании Аристотеля (наставление Никомаху I, 7 и VII, 13, 14), что всякое наслаждение предполагает некоторую деятельность, применение известной силы и немислимо без такового. Учение Аристотеля, утверждающее, что счастье человека заключается в свободном использовании преобладающих в нем способностей, – воспроизводится Стобеусом в его исследовании о перипатетической этике (Eel. eth. II, cap. 7); счастье, говорит он, состоит в упражнении своих способностей работами, могущими дать известный результат.

Исконное назначение сил, коими природа наделила человека, заключается в борьбе с нуждою, теснящей его со всех сторон. Раз эта борьба прерывается, неиспользованные силы становятся бременем, и человеку приходится играть ими, т. е. бесцельно тратить их, ибо иначе он подвергнет себя действию другого источника человеческого страдания – скуки. Она терзает прежде всего знатных и богатых людей; Лукреций дал превосходное описание их страданий<sup>4</sup>, меткость которого мы в любое время можем проверить в каждом большом городе. У таких людей в юности большую роль играет физическая сила и производительная способность. Но позже остаются одни душевные силы; если их мало, если они плохо развиты или же нет данных к их деятельности, то получается серьезное бедствие. Так как воля есть единственная неиссякаемая сила, то стараются ее возбудить, разжигая в себе страсти, прибегая, напр., к крупной азартной игре – поистине унижительному пороку.

Вообще каждый праздный человек, сообразно с характером преобладающих в нем сил, выберет для их упражнения то или иное занятие – игру: кегли, шахматы, охоту, живопись, скачки, музыку, карты или поэзию, геральдику или философию и т. д.

Тему эту можно разработать методически; для этого надо обратиться к основе действия всех человеческих сил, т. е. к трем основным физиологическим силам. Рассматривая их бесцельную игру, мы видим, что они являются источниками трех групп наслаждения, из коих человек, – в зависимости от того, какая сила в нем преобладает – выбирает более для себя подходящие. Наслаждения доставляются: во-первых – воспроизводительной силой (Reproductionskraft); таковы еда, питье, пищеварение, покой и сон. Про некоторые нации сложилась молва, будто они возводят эти наслаждения на степень народных торжеств. – Во-вторых, – раздражаемостью (Irritabilitdt); таковы путешествия, борьба, танцы, фехтование, верховая езда, разные атлетические игры, охота, и даже битвы и война. – В-третьих – чувствительностью (Sensibilitdt); таковы созерцание, мышление, ощущение, поэзия, музыка, учение, чтение, изобретение, философия и т. п. – Относительно ценности, степени и продолжительности каждой такой группы наслаждений можно сказать много, но я это предоставляю читателю.

Вероятно, всякий подметил, что наслаждение, обуславливающееся тратой наших сил, а с ними и наше счастье, заключающееся в частом повторении наслаждений – будет тем полнее, чем благороднее обуславливающая их сила. Никто не станет отрицать преимущества, принадлежащего в этом отношении чувствительности – решительным преобладанием коей человек отличается от других животных, – над двумя другими физиологическими силами, присущими в равной или даже большей степени животным. К чувствительности относятся и наши познавательные силы: поэтому ее преобладание делает нас способными к наслаждениям духовным – т. е. состоящим в познании; наслаждения эти тем выше, чем больше перевес чувствительности<sup>5</sup>.

---

4 «Один покидает свой роскошный дворец, чтобы прогнать скуку, но тотчас возвращается назад, не чувствуя себя счастливее в другом месте. Другой спешно бежит в свое имение, словно там надо тушить пожар; но едва достигнув границ имения, он начинает скучать и или предается сонливости и старается забыться, или же спешно возвращается в город» (III, 1073).

5 природа постоянно совершенствуется, переходя от механикохимического процесса в неорганическом

Нормальный, средний человек живо интересуется каким-либо предметом лишь при условии, если последний возбуждает его волю; только этим предмет приобретает в его глазах личный интерес. Но всякое длительное возбуждение воли является процессом сложным; в известной доле в него входит и страдание. Средством умышленного возбуждения ее при посредстве мелких интересов, могущих причинить не длительную и серьезную боль, а лишь минутную, легкую, которую правильнее бы назвать «щекотанием воли» – является карточная игра, – обычное занятие «порядочного общества» во всех странах <sup>6</sup>.

Человек с избытком духовных сил способен живо заинтересоваться чем-либо через посредство хотя бы одного разума, без всякого вмешательства воли; ему это даже необходимо. Такой интерес переносит его в область, совершенно чуждую страданий, в атмосферу «веселой, легкой жизни богов». – Жизнь остальных протекает в отупении; их мечты и стремления всецело направлены на пошлый интерес личного благосостояния – т. е. на борьбу с разными невзгодами; поэтому их одолевает невыносимая скука, как только эта цель отпадает и они оказываются предоставленными самим себе; лишь бешенное пламя страсти способно внести известное движение в эту застывающую массу.

Наоборот, человек с избытком духовных сил живет богатой мыслями жизнью, сплошь оживленной и полной значения. Достойные внимания явления интересуют его, если он имеет время им отжаться; в себе же самом он имеет источник высших наслаждений. Импульс извне дают ему явления природы и зрелище человеческой жизни, а также разнообразнейшие творения выдающихся людей всех эпох и стран. Собственно, только он и может наслаждаться ими, так как лишь для него понятны эти творения и их ценность. Именно для него живут великие люди, к нему лишь они обращаются, тогда как остальные, в качестве случайных слушателей способны усвоить разве какие-нибудь клочки их мыслей. Правда, этим у интеллигентного человека создается лишняя потребность, потребность учиться,

---

мире к растительности с ее глухим самоощущением и далее к животному царству, где уже заметны разум и сознание; эти слабые ростки развиваются постепенно дальше, и последним, величайшим усилием достигается человек; его интеллект – апогей и цель творений природы, самое совершенное и трудное, что она смогла произвести. Однако и в пределах человеческого рода разум представляет многочисленные и заметные градации и крайне редко достигает высшего развития – действительно высокой интеллигентности. Понимаемая в узком, строгом смысле, она является труднейшим и высшим творением природы и вместе с тем самым редким и ценным, что есть на свете.

При такой интеллигентности появляется вполне ясное сознание, а следовательно – отчетливое и полное представление о мире. Одаренный ею человек обладает величайшим земным сокровищем – тем источником наслаждений, по сравнению с которым все другие – ничтожны. Извне ему не требуется ничего, кроме возможности без помех наслаждаться этим даром, хранить этот алмаз. Ведь все другие – не духовные – наслаждения суть низшего рода; все они сводятся к движениям воли, т. е. к желаниям, надеждам, опасениям, усилиям, – направленным на первый попавшийся объект. Без страданий при этом не обойтись; в частности, достижение цели обычно вызывает в нас разочарование. Наслаждения духовные приводят лишь к уяснению истины. В царстве разума нет страданий, есть лишь познание. – Духовные наслаждения доступны, однако, человеку лишь чрез посредство, а следовательно, и в границах его собственного разума: «весь имеющийся в мире разум бесполезен для того, у кого его нет». Единственная невыгода, связанная с этим преимуществом, это та, что во всей природе восприимчивость к боли повышается параллельно с разумом, а следовательно, здесь достигает высшего предела.

6 В сущности вульгарность состоит в том, что желания преобладают в сознании человека над познавательной способностью, и эта последняя становится в служебное отношение к воле; следовательно, раз воля не нуждается в услугах познания, раз нет ни крупных, ни мелких мотивов, сознание дремлет и наступает полное отсутствие мыслей. Желание без сознания самое низменное, что только возможно: оно присуще всякому полену, в котором и обнаруживается в момент его падения. Состояние это и есть вульгарность. Здесь действуют лишь органы чувств, да та ничтожная доза разума, какая необходима для восприятия ощущений. Посему вульгарный человек доступен всем впечатлениям, тотчас воспринимает все, что говорится вокруг; каждый слабый звук, мельчайшее обстоятельство немедленно возбуждают, как и у зверей, его внимание. Такое состояние отражается на его лице и на всей наружности, – получается вульгарный вид, особенно отталкивающий и, если – как это обычно бывает, – воля, заполняющая собою все сознание, – низменна, эгоистична и зла.

видеть, образовываться, размышлять, – а с тем вместе и потребность в досуге. Но, как правильно сказал Вольтер, – «нет истинных удовольствий без истинных потребностей, а потому, благодаря им, интеллигентному человеку доступны такие наслаждения, которых не существует для других. Для большинства красота в природе и в искусстве, как бы оно ни окружало себя ею, являются тем же, чем гетера – для старика. Богато одаренный человек живет поэтому, наряду со своей личной жизнью, еще вторую, а именно духовную, постепенно превращающуюся в настоящую его цель, причем личная жизнь становится средством к этой цели тогда как остальные люди именно это пошлое, пустое, скучное существование считают целью. Он преимущественно будет заботиться о чисто духовной жизни, которая, благодаря постоянному развитию мышления и познания, получит связность и все резче обрисовывающуюся целостность и законченность завершающегося произведения искусства. От нее печально отличается жизнь чисто практическая, направленная лишь на личное благосостояние, способная развиваться лишь вширь, но не вглубь, и служащая целью, тогда как должна бы быть лишь средством.

Наша практическая, реальная жизнь раз ее не волнуют страсти, – скучна и плоска; в противном же случае она становится горестной; поэтому счастливы только те, кто наделен некоторым излишком ума сверх той меры, какая необходима для служения своей воле. Такие люди рядом с действительной жизнью живут еще и духовной, постоянно их интересующей и занимающей, и притом чуждой страдания. Простого безделья, т. е. ума, незанятого служением воле, – для этого мало; требуется положительный избыток сил, который только и способен толкнуть нас на чисто умственную работу, вне служения воле: «отдых без занятий – это смерть, погребение живого человека» (Seneca, ep. 82). Сообразно с тем, велик или мал этот избыток ума, существуют бесчисленные градации духовной жизни, начиная с собирания и описания насекомых, птиц, минералов, монет и вплоть до создания высших произведений поэзии и философии.

Такая духовная жизнь ограждает нас не только от скуки, но и от ее пагубных последствий. Она спасает от дурного общества и от тех многих опасностей, несчастий, потерь, растрат, какие постигают всякого, ищущего свое счастье во внешнем мире. Правда, мне моя философия ничего не дала, зато многое сохранила.

«Нормальный», средний человек вынужден искать жизненных наслаждений вне себя: – в имуществе, чине, жене и детях, друзьях, в обществе и т. п., и на них воздвигать свое счастье; поэтому счастье рушится, если он их теряет или в них обманывается. Его положение можно выразить формулой: центр его тяжести – вне его. Поэтому его желания и капризы постоянно меняются; если позволяют средства – он то покупает дачу, лошадей, то устраивает празднества и поездки, вообще ведет широкую жизнь. Удовольствия он ищет во всем окружающем, вовне, подобно больному, надеющемуся в бульоне и лекарствах найти здоровье, истинный источник которого – его жизненная сила.

Чтобы не перейти сразу к другой крайности, возьмем человека, если и не с выдающимися, то все же с превышающими обычную скудную дозу духовными силами. Если внешние источники радости иссякнут или перестанут его удовлетворять, – он начнет по-дилетантски заниматься искусством, или же реальными науками

– ботаникой, минералогией, физикой, астрономией и т. п., найдет в этих занятиях немало наслаждения, и отдохнет за ними; мы можем сказать, что центр тяжести лежит отчасти уже в нем самом. Но так как дилетантизм в искусстве еще далек от истинного таланта, а реальные науки не идут далее взаимоотношения явлений, то ни то, ни другое не в силах поглотить человека всецело, наполнить все его существо и так сплести с собою его жизнь, чтобы ко всему остальному он потерял интерес. Это составляет удел высшего духа, который обычно именуют гением. Только гений избирает абсолютной темой своего бытия жизнь и сущность предметов, и глубокое их понимание стремится выразить, в зависимости от индивидуальных свойств, в искусстве, поэзии или философии.

Только для такого человека занятие собою, своими мыслями и творениями насущно необходимо, одиночество – приятно, досуг – является высшим благом, – все же остальное –

не нужно, а если оно есть, то нередко становится в тягость. Лишь про такого человека можно сказать, что центр его тяжести – всецело в нем самом.

Отсюда станет ясно, почему такие, крайне редкие люди даже при отличном характере, не принимают того теплого, безграничного участия в друзьях, семье и обществе, на которое способны многие другие. Они готовы примириться с чем угодно, раз только они имеют себя. В них заложен один лишний изолирующий элемент, тем более действительный, что другие люди никогда не могут их удовлетворить; и этих других они не считают равными себе; так как эта отдаленность сказывается всегда и во всем, то постепенно они начинают считать себя отличными от людей существами и говорить о людях в третьем, а не в первом лице множественного числа.

С этой точки зрения тот, кого природа щедро наделила в умственном отношении, – является счастливее всех; ибо очевидно, что субъективные данные важнее, чем объективные, действие коих, каково бы оно ни было, всегда совершается через посредство первых. Это и выражают стихи Люциана (Anthol. 1,67): «Богатство духа – единственно истинное богатство; ибо имущественный достаток влечет за собою несчастье». Обладателю внутреннего богатства не надо извне ничего, кроме одного отрицательного условия – досуга, – чтобы быть в состоянии развивать свои умственные силы и наслаждаться внутренним сокровищем, другими словами – ничего, кроме возможности всю жизнь, каждый день и час, быть самим собою. Кому предназначено наложить отпечаток своего ума на все человечество, для того существует лишь одно счастье: иметь возможность развить свои способности и закончить свои труды, – и одно несчастье: не иметь этой возможности. Все остальное мало его касается. Поэтому великие умы всех времен придавали огромную ценность досугу. Что стоит человек, то стоит для него его досуг. «Счастье, по-видимому, заключается в досуге», – сказал Аристотель (Eth. Nie. X, 7), а Диоген Лаэртий свидетельствует, что «Сократ восхвалял досуг превыше обладания девушкою». Тот же смысл имеют слова Аристотеля (Eth. Nie. X, 7 – 9): «жизнь философа – самая счастливая» и его изречение (Политика IV, II): «счастье в том, чтобы без помех упражнять свои способности, каковы бы они ни были». Это совпадает со словами Гете в «Вильгельме Мейстере»: кто рожден с талантом и ради этого таланта, – найдет в нем свое счастье».

Но ни обычный удел человека, ни его природа не дают ему досуга. Естественное назначение человека состоит в том, чтобы проводить всю жизнь в приобретении всего необходимого для существования своего и семьи. Человек – сын нужды, а не «свободный ум». Поэтому для среднего человека досуг скоро становится бременем, даже пыткой, если не удастся заполнить его разными искусственными, фиктивными целями – игрой, развлечениями или какой угодно чепухой; для него досуг опасен: правильно замечено, что «трудно обрести покой в праздности».

С другой стороны ум, далеко превышающий среднюю норму, – есть явление ненормальное, неестественное. Но раз оно налицо, то для счастья его обладателя необходим еще досуг, столь ненужный одним и столь пагубный для других; без досуга он будет Пегасом в ярме – т. е. несчастлив. Если же сочетаются обе ненормальности – внешняя и внутренняя, т. е. материальный достаток и великий ум, – то в этом случае счастье обеспечено; такой человек будет жить особою, высшею жизнью: он застрахован от обоих противоположных источников страданий – нужды и скуки

– т. е. как от забот о пропитании, так и от неспособности переносить досуг (т. е. свободное время) – два зла, которые вообще щадят человека лишь тогда, когда они, нейтрализуясь, поочередно уничтожают друг друга.

Однако, с другой стороны надо учесть, что большой ум, вследствие преобладания нервной деятельности, образует повышенную восприимчивость к боли в любом ее виде; кроме того, обуславливающий его страстный темперамент и неразрывно с ним связанные живость и цельность всех представлений придают чрезвычайную бурность вызванным ими аффектам, из которых мучительных в жизни больше, чем приятных. Наконец, выдающийся ум отдаляет его обладателя от остальных людей, их жизни и интересов, так как чем больше

человек имеет в себе, тем меньше могут дать ему другие. Сотни предметов, доставляющих людям удовольствие, для него скучны и ненужны, в чем, пожалуй, и сказывается повсюду царящий закон возмездия. Очень часто и, по-видимому, справедливо утверждают, что весьма ограниченный в умственном отношении человек, в сущности – самый счастливый, хотя никто и не позавидует такому счастью. Впрочем, я не желаю навязывать читателю окончательного решения этого вопроса, тем более, что сам Софокл высказал по нему два диаметрально противоположных суждения: «глубокое знание есть первое условие счастья» (Antiq. 1328) и «не думать ни о чем – значит жить счастливо» (Ajax. 550). Также разноречивы философы Ветхого Завета: «жизнь глупца – хуже смерти» (Иис. Сир. 22, 12) и «где много мудрости – там много горя» (Экл. 1, 18).

Кстати упомяну здесь, что человек, не имеющий вследствие – нормальной, впрочем – ограниченности, умственных сил, никаких духовных потребностей, называется филистером – слово, присущее лишь немецкому языку; возникнув в студенческой жизни, термин этот получил позже более широкий смысл, сохранив, однако, прежнее основное значение – противоположности «сыну муз». С высшей точки зрения я дал бы понятию филистера такое определение: это – человек, постоянно и с большою серьезностью занятый реальностью, которая на самом деле не реальна. Но подобное, уже трансцендентное определение не подходило бы к той популярной точке зрения, на которую я стал, принявшись за настоящий труд, – а потому, быть может, было бы понятно не всем читателям. Первое же определение легче допускает специальные разъяснения и достаточно ясно указывает на сущность типа и на корень свойств, характеризующих филистера. Это – человек без духовных потребностей. Отсюда следует многое. Во-первых, в отношении себя самого филистер лишен духовных наслаждений, ибо, как приведено выше: «нет истинных удовольствий без истинных потребностей». Никакое стремление, ни к познанию и пониманию, ради них самих, ни к собственно эстетическим наслаждениям, родственное с первым, – не оживляют его существования. Те из подобных наслаждений, которые ему навязаны модой или долгом, он будет стараться «отбить» как можно скорее, словно каторгу. Действительными наслаждениями являются для него лишь чувственные. Устрицы и шампанское – вот апофеоз его бытия; цель его жизни, – добыть все, способствующее телесному благоденствию. Он счастлив, если эта цель доставляет много хлопот. Ибо если эти блага заранее ему подарены, то он неизбежно становится жертвой скуки, с которой начинает бороться чем попало: балами, театрами, обществом, картами, азартными играми, лошадьми, женщинами, вином и т. д. Но и всего этого недостаточно, чтобы справиться со скукой, раз отсутствие духовных потребностей делает для него недоступными духовные наслаждения. Поэтому тупая, сухая серьезность, приближающаяся к серьезности животных, – свойственная филистеру и характеризует его. Ничто не радует, не оживляет его, не возбуждает его участия. Чувственные наслаждения скоро иссякают; общество, состоящее сплошь из таких же филистеров – делается скоро скучным, а игра в карты начинает утомлять. Правда, остаются еще радости своего рода тщеславия, состоящего в том, что он старается богатством, чином, влиянием или властью превзойти других, которые за это будут его уважать, – или же хотя бы только в том, чтобы вращаться в среде тех, кто добился всего этого и таким образом греется в отраженных от них лучах (а snob).

Из этой основной черты филистера вытекает, во-вторых, в отношении других людей, что не имея духовных, а имея лишь физические потребности, он станет искать того, кто может удовлетворить эти последние. В требованиях, предъявляемых им к людям, он меньше всего будет заботиться о преобладании духовных способностей; скорее они возбудят в нем антипатию, пожалуй, даже ненависть: они вызовут в нем тяжелое чувство своей ничтожности и глухую, тайную зависть; он тщательно станет скрывать ее, даже от самого себя, благодаря чему, однако, она может разрастись в глухую злобу. Он и не подумает соразмерять свое уважение или почтение с духовными качествами человека; эти чувства он будет питать лишь к чину, богатству, власти и влиятельности, являющимися в его глазах единственными истинными отличиями, которыми он желал бы блистать сам.

Все это вытекает из того, что он не имеет духовных потребностей. Беда всех филистеров в том, что ничто идеальное не может развлечь их, и для того, чтобы избежать скуки, они нуждаются в реальном. Но все реальное отчасти скоро иссякает – утомляет, вместо того, чтобы развлекать – отчасти ведет к разным невзгодам, тогда как мир идеального неистощим и безгрешен.

Во всем этом очерке о личных свойствах, способствующих нашему счастью, я исследовал кроме физических, главным образом, умственные свойства. В какой мере могут непосредственно осчастливить нас нравственные достоинства – это изложено мною раньше в очерке «Основы морали» (§ 22), к которому я и отсылаю читателя.

### **Глава третья. О ТОМ, ЧТО ЧЕЛОВЕК ИМЕЕТ**

Великий учитель счастья, Эпикур, вполне правильно разделит человеческие потребности на три класса. Во-первых, – потребности естественные и необходимые; это те, которые причиняют страдания, если их не удовлетворить. Сюда относятся лишь одежда и пища. Удовлетворить их – не трудно. – Во-вторых, – потребности естественные, но не необходимые; такова потребность в половом общении (правда, Эпикур об этом не говорит, но вообще я передаю здесь его учение в несколько исправленном, подчищенном виде). Удовлетворить ее уже труднее.

– В-третьих, – потребности не естественные и не необходимые; таковы роскошь, богатство, блеск; число их бесконечно и удовлетворить их крайне трудно (См. Diog. Laert. X, с. 28, §§ 149 и 127).

Определить границу разумности наших желаний в отношении к собственности – трудно, если не невозможно. Удовлетворенность человека в этом направлении обуславливается не абсолютной, а относительной величиной, а именно отношением между его запросами и его состоянием. Поэтому, это последнее, рассматриваемое отдельно, говорит так же мало, как числитель дроби без знаменателя. Отсутствие благ, о которых человек и не помышлял – не составит для него лишения: он и без них может быть вполне довольным, тогда как другой, имеющий в сто раз больше, чувствует себя несчастным из-за того, что у него нет чего-либо, в чем он имеет потребность. У каждого в этом отношении есть свой особый горизонт благ, которых он мог бы достичь, и потребности его не выходят за пределы этого круга. Если какой-либо из находящихся в нем объектов примет положение, вызывающее уверенность в его достижении – человек счастлив; он несчастлив, если какие-либо препятствия лишат его этой уверенности. Все, расположенное вне этого горизонта – для человека безразлично. Поэтому бедняка не смущают огромные состояния богачей, а с другой стороны, богачу не доставит утешения, при какой-либо неудаче, даже то многое, что у него есть. Богатство подобно соленой воде: чем больше ее пьешь, тем сильнее жажда. Это относится и к славе.

Если, лишь только минует первая боль после потери богатства и вообще состояния, наше настроение делается приблизительно таким же, каким было раньше, – то это оттого, что как только судьба уменьшила один фактор – состояние, мы сами тотчас же сокращаем другой – наши потребности. При постигшем несчастье эта операция чрезвычайно болезненна; зато, как только она совершена, боль начинает стихать и в конце концов пропадает-рана зарубцовывается. – Наоборот, при счастливом событии, пресс, сокращающий наши потребности, приподнимается и они начинают расти; – в этом заключается радость. Но длится она лишь до тех пор, пока не закончится этот процесс; мы привыкаем к увеличенному масштабу наших потребностей и становимся равнодушными к соответствующему ему состоянию. Мысль эту можно найти и в Одиссее Гомера (XVIII, 130 – 1377).

Источник нашей неудовлетворенности заключается в наших постоянных попытках



увеличить один фактор – потребности оставляя другой фактор без изменений.

Неудивительно, что в таком нуждающемся, как бы сотканном из потребностей роде, каков род человеческий, богатство ценится, даже уважается больше и откровеннее, чем все другое; даже власть служит лишь средством к этой цели; неудивительно, далее, что имея в виду обогащение, люди все остальное презирают и отбрасывают в сторону; такова, в частности, участь философии в руках ее профессоров.

Часто упрекают людей за то, что их желания направлены главным образом на деньги, которые им милее всего. Но ведь вполне естественно, даже неизбежно любить то, что, подобно неутомимому Протею, способно в каждый момент превратиться в любой объект наших столь капризных желаний и разных потребностей. Всякое другое благо может удовлетворить лишь одну потребность, одно желание: еда важна лишь для голодного, лекарства – для больного, вино – для здорового, шуба – для зимы, женщины – для молодежи и т. д. Все эти блага относительны; лишь деньги – абсолютное благо, так как они удовлетворяют не одну какую-либо потребность *in concreto*, а всякую потребность – *in abstracto*.

На имеющееся у нас состояние следует смотреть, как на ограду от всевозможных бед и напастей, а не как на разрешение или даже обязательство купаться в удовольствиях. Люди, не получившие наследства, и достигшие благодаря тем или иным талантам, возможности много зарабатывать, почти всегда начинают ошибочно считать свой талант – основным капиталом, а приобретаемые через его посредство деньги – прибылью. Поэтому они из заработка не откладывают ничего с целью составить неприкосновенный фонд, а тратят все, что удастся добыть. Обычный результат этого – нищета; их заработок прекращается или после того, как исчерпан их талант, если это талант временный (как, напр., в искусствах), или же потому, что исчезли особые условия, делавшие данный талант прибыльным. В весьма благоприятных условиях находятся ремесленники: способность к ремеслу теряется не легко, или же может быть заменена работой помощников, а к тому же их изделия суть предметы необходимости, и следовательно, всегда найдут сбыт; вполне справедлива поговорка – «ремесло – это мешок с золотом». – Не так обстоит дело с художниками и разными артистами, именно поэтому им и платят так дорого. Но поэтому же зарабатываемые ими средства должны считаться капиталом, они же, к сожалению, видят в них прибыль и таким образом сами идут к нищете.

Напротив, люди, получившие наследство, отлично знают – по крайней мере в начале – что составляет капитал, и что – прибыль. Большинство постарается надежно поместить капитал, не будет его трогать, а даже, при возможности, станет откладывать хотя 1/8 дохода, чтобы обеспечить себя на черный день. Поэтому обычно такие люди остаются состоятельными.

Сказанного нельзя применять к купцам: для них сами деньги служат, подобно рабочим инструментам, средством дальнейшего обогащения; поэтому они, даже если деньги добыты ими самими, желая сохранить и приумножить их, будут пускать их в оборот. Ни в какой среде богатство не встречается столь часто, как в этой.

Можно сказать, что по общему правилу люди, испытавшие истинную нужду, боятся ее несравненно меньше и поэтому более склонны к расточительности, чем те, кто знаком с нуждой лишь понаслышке. К первой категории принадлежат люди, благодаря какой-либо удаче или особым талантам быстро перешедшие из бедности к богатству; ко второй – те, кто родился состоятельным и остался таким. Обычно эти последние больше заботятся о своем будущем и потому экономнее первых. Это наводит на мысль, что нужда не так уж тяжела, как она издали кажется. Однако, вероятнее, что истинная причина здесь другая: тому, кто вырос в богатстве, оно представляется чем-то необходимым, предпосылкой единственно возможной жизни – так же, как воздух; поэтому он заботится о богатстве не меньше, чем о своей жизни, а следовательно, окажется, вероятно, аккуратным, осторожным и бережливым.

Напротив, для человека, выросшего в бедности, она кажется естественным состоянием, а свалившееся ему каким-либо путем богатство – излишком, годным лишь для наслаждений

и мотовства; исчезло оно – человек обойдется и без него, как обходился раньше, да к тому же спадет с плеч лишняя забота. Здесь уместно вспомнить слова Шекспира: «Должна оправдываться поговорка, что сев верхом, коня загонит нищий» (Henry VI, P. 3. A.I).

К этому надо прибавить, что долго жившие в нужде люди питают чрезмерное доверие отчасти к судьбе, отчасти к собственным силам, помогшим им уже раз выбраться из бедности; они верят в это не столько разумом, сколько душою, и поэтому не считают, подобно родившимся в богатстве, нужду какую-то бездонною пропастью, а полагают, что стоит лишь толкнуться о дно, чтобы снова выбраться наверх. Этой оригинальной чертой объясняется, потому женщины, выросшие в бедности, становятся, после замужества, часто расточительнее, чем те, которые принесли богатое приданое: обычно богатые девушки бывают снабжены не только деньгами, но и унаследованною склонностью к сохранению богатства. Кто полагает противное, найдет себе поддержку у Ариосто, в 1-й сатире; д-р Джонсон склоняется к моему мнению: «Богатая женщина, привыкшая распоряжаться деньгами, тратит их разумно; той же, которая впервые получает в руки деньги лишь после замужества, так нравится тратить их, что она способна промотать все» (S. Boswell, Life of Johnson). Во всяком случае я советую тому, кто женится на бесприданнице, завещать в ее распоряжение не капитал, а лишь доходы с него, а в особенности следить, чтобы состояние детей не попало в ее руки.

Не думаю, что опозорю мое перо, если посоветую заботиться о сохранении заработанного и унаследованного состояния.. Обладать со дня рождения состоянием, дающим возможность жить,

– хотя бы без семьи, только для самого себя – в полной независимости, т. е. без обязательного труда – это неоценимое преимущество. Состояние – это иммунитет, гарантия против присущих человеческой жизни нужды и горестей, избавление от кабалы, составляющей удел всех сынов земли. Лишь с этим даром судьбы можно родиться действительно свободным; лишь в этом случае человек полноправен, хозяин своего времени и вправе каждое утро говорить: «этот день – мой». Вот почему разница между получающим тысячу и сто тысяч рублей дохода несравненно меньше, чем между первым и тем, кто не имеет ничего. Высшую ценность наследственное состояние приобретает тогда, если оно достается человеку, одаренному духовными силами высшего порядка и преследующему цели, не имеющие ничего общего с обогащением. Свой долг людям один оплатит сторицею, создавая то, на что никто кроме него не способен, и что послужит к благу и чести всего человечества. Другой, при этих благоприятных условиях, окажет людям услуги на почве филантропической деятельности. Тот же, кто при унаследованном богатстве не окажет, не попытается оказать ни одной из этих услуг, и даже не постарается серьезным изучением какой-либо науки найти способ подвинуть ее вперед, – тот ничто иное, как достойный презрения тунядец. Счастлив он не будет: избавившись от нужды, он попадает на другой полюс человеческого горя – во власть скуки, настолько тяжелой, что он был бы рад, если бы нужда вынудила его заняться чем-либо. Скука эта легко может склонить его к излишества, которые уничтожат в конце концов то преимущество, коего он оказался недостойным – богатство. Множество людей бедны лишь потому, что, имея деньги, они тратили их без остатка, чтобы хоть на миг заглушить давящую их скуку.

Иначе обстоит дело, если целью становится преуспевание в государственной службе, для чего надо иметь доброе имя, друзей и связи, через посредство коих можно постепенно добиться повышения вплоть до высших должностей; – для этого, пожалуй, в сущности выгоднее начать жизнь без всякого состояния. Бедность послужит особенным преимуществом, как бы рекомендацией для того, кто, не будучи дворянином, наделен порядочными способностями. Ибо то, что любит, к чему стремится каждый, даже в беседе, а тем паче на службе, – это свое превосходство над другими. Бедняк же убежден, проникнут сознанием своего полного, глубокого, всестороннего ничтожества, своей совершенной незначительности и малоценности в той именно мере, в какой это требуется для службы. Лишь он будет достаточно часто и низко кланяться, и сгибать свою спину до полных 90

градусов; только он позволит делать с собою что угодно, и улыбаться при этом; он один будет открыто и громко, хотя бы печатно возводить в шедевры литературские мысли, выписываемые его начальниками и вообще влиятельными людьми; он один умеет выпрашивать; – следовательно, только он усвоит вовремя, т. е. в юности, ту сокровенную истину, которую Гете выразил в стихах:

Ober's Niedertrdchtige Niemand sich beklage Denn es ist das Mдchtige Was man dir auch sage<sup>7</sup>.

Наоборот, человек, имеющий достаток из дому, будет вести себя крайне упрямо: он привык ходить tkte Левйе, не умеет низкопоклонничать, и к тому, быть может, притязает на талант, не понимая, как он ничтожен в глазах царящей посредственности и приниженности; он способен, пожалуй, возмыслить, что поставленные над ним власти в сущности ниже его; когда же дело касается какой-либо низости – он становится мнительным и строптивым. На этом в жизни далеко не уедешь, и надо думать, что он придет в конце концов к выводу дерзкого Вольтера: «мы живем всего несколько дней, – и не стоит проводить их пресмыкаясь пред „coquins mйprisables“; – к сожалению, к сказуемому „coquins mйprisables“ на свете имеется дьявольски много подлежащих. – Поэтому слова Ювенала: „трудно выказать свои добродетели для тех, кто стеснен домашними обстоятельствами“ – применимы более к судьбе выдающихся людей, чем к уделу заурядных смертных.

Говоря о том, что имеет человек, я не считал его жены и детей, так как скорее он сам находится в их руках. С большим основанием можно упомянуть о друзьях, – однако и здесь субъект является в равной мере и объектом обладания.

## Глава четвертая. О ТОМ, ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЮ ЧЕЛОВЕК

То, что мы собой представляем, т. е. мнение других о нашей жизни, ценится обычно, по слабости человеческой природы, непомерно высоко, хотя малейшее размышление показывает, что это мнение само по себе несущественно для нашего счастья. Мудрено постичь, почему человек испытывает такую сильную радость, когда он замечает благосклонность других или когда как-нибудь польстят его тщеславию. Как кошка мурлычет, когда ее гладят, так же стоит похвалить человека, чтобы его лицо непременно засияло истинным блаженством; похвала может быть заведомо ложной, надо лишь, чтобы она отвечала его претензиям. Знаки чужого одобрения нередко утешают его в реальной беде и в той скупости, какую проявляют для него два рассмотренных выше источника счастья. С другой стороны, достойно изумления, какую обиду, какую серьезную боль причиняет ему всякое оскорбление его честолюбия, в каком угодно смысле, степени, направлении, всякое неуважение, «осаживание» или высокомерное обращение.

Поскольку на этих свойствах основано чувство чести, они оказывают, в качестве суррогата нравственности, благотворное влияние на порядок человеческого общения; но свойства эти неблагоприятны, служат препятствием собственно для счастья людей, и прежде всего для столь существенных для него спокойствия духа и независимости. Поэтому с нашей точки зрения представляется необходимым поставить этим свойствам известные границы и, путем размышления и правильной оценки различных благ, по возможности умерить чрезмерную чувствительность к чужому мнению, как в том случае, если нам льстят, так и тогда, когда нас порицают; ведь и то и другое имеет один и тот же источник. – Иначе мы станем рабами чужих мнений и настроений:

– «так пусто и мелко то, что угнетает или радует душу, жаждущую похвал».

Верная сравнительная оценка того, что такое человек сам по себе и того, чем он является в глазах других – будет много способствовать нашему счастью. К первому

---

7 Не стоит досадовать на людскую низость: что бы о ней ни говорили, она – сила.

относится все, что заполняет нашу личную жизнь, ее внутреннее содержание, а следовательно, все блага, рассмотренные нами под рубриками: «что такое человек» и «что человек имеет». Местом, служащим сферой действия этих моментов, является собственное сознание. Напротив, то, чем мы являемся для других – проявляется в чужом сознании; это наш образ, создавшийся в нем, наряду с представлениями, к нему применяемыми<sup>8</sup>. Чужое же сознание существует для нас не непосредственно, а лишь косвенно, – поскольку им определяется поведение других по отношению к нам. Но даже и это последнее важно, в сущности, лишь в той мере, в какой оно способно влиять на изменение того, чем мы являемся сами по себе и для себя. К тому же все происходящее в чужом сознании само по себе для нас безразлично; мы сами к этому равнодушны, лишь только ознакомимся с поверхностью и пустотой мыслей, с ограниченностью понятий, с мелочностью помыслов, с извращенностью взглядов и с заблуждениями, присущими большинству людей, и познаем, вдобавок, на личном опыте, каким презрением люди готовы обливать каждого, раз его нечего бояться или если можно надеяться, что это до него не дойдет; в особенности, если нам доведется услышать, как полдюжины баранов пренебрежительно поругивают выдающегося человека. Вот когда мы поймем, что ценить высоко мнение людей – будет для них слишком много чести!

Кто не может найти счастья в двух рассмотренных разрядах благ, т. е. в том, что он такое в действительности, – а принужден обратиться к третьему, – к тому, чем он является в чужом представлении, – для того остался крайне скудный источник счастья. Базисом нашего существа, а следовательно и нашего счастья служит животная сторона нашей природы. Поэтому для благоденствия существеннее всего здоровье, а после него средства к жизни, т. е. доход, могущий избавить нас от забот. Честь, блеск, чин, слава, какую бы ценность мы им ни приписывали, не могут ни соперничать с этими подлинными благами, ни заменять их; в случае надобности мы не задумываясь пожертвовали бы ими ради подлинных благ.

Много даст для нашего счастья, если мы вовремя усвоим ту нехитрую истину, что каждый, прежде всего и в действительности, живет в собственной шкуре, а не во мнении других, и что поэтому наше личное реальное самочувствие, обусловленное здоровьем, способностями, доходом, женой, детьми, друзьями, местом пребывания – в сто раз важнее для счастья, чем то, что другим угодно сделать из нас. Думать иначе – безумие, ведущее к несчастью. Воскликать с энтузиазмом: «честь выше жизни», значит в сущности утверждать: «наша жизнь и довольство – ничто; суть в том, что думают о нас другие». Такое утверждение может рассматриваться разве как гипербола, построенная на той прозаической истине, что честь, т. е. мнение людей о нас, часто весьма необходима для жизни среди людей; – к этому, однако, я вернусь позже. Когда же мы видим, что почти все, к чему люди стремятся всю свою жизнь, с крайними напряжениями, ценою тысячи опасностей и огорчений, имеет конечною целью возвысить их во мнении других, – ибо ведь не только к чину, титулу, к орденам, но и к богатству, даже к науке и искусству люди тяготеют главным образом ради этой цели; когда мы видим, что уважение других возводится на степень высшей цели, к какой стоит стремиться – нам становится ясной неизмеримость человеческой глупости.

Придавать чрезмерную ценность мнению других – это всеобщий предрассудок; коренится ли он в нашей природе или возник как следствие общественной жизни и цивилизации, во всяком случае, он оказывает на всю нашу деятельность чрезмерное и губительное для нашего счастья влияние; влияние это сказывается во всем, начиная с боязливого рабского трепета пред тем, «что скажут» и кончая Вергилием, вонзающим кинжал в сердце дочери; эта же сила заставляет ради посмертной славы жертвовать спокойствием, богатством, здоровьем, даже жизнью. Предрассудок

– это чрезвычайно удобное орудие для того, кто призван повелевать или управлять людьми; поэтому во всех отраслях искусства дрессировки людей первое место отведено

---

<sup>8</sup> Высшие классы с их блеском, роскошью, великолепием и разного рода тщеславием могут сказать: наше счастье всецело вне нас: его центр – головы других людей".

наставлению о необходимости поддерживать и развивать в себе чувство чести. Но с точки зрения интересующего нас личного счастья дело обстоит иначе: следует, наоборот, отговаривать людей от чрезмерного уважения к мнению других. Если все же, как то наблюдается повседневно, большинство людей придает высшую ценность именно чужому мнению и поэтому заботятся о нем больше, чем о том, что, происходя в их собственном сознании, существует непосредственно для них; если, вопреки естественному порядку, чужое мнение кажется им реальной, а настоящая их жизнь – идеальной стороной их бытия; если они возводят в самоцель нечто второстепенное и производное, и их образ в чужом представлении ближе для них, чем само их существо – то столь высокая оценка того, что непосредственно для них не существует, составляет глупость, называемую тщеславием, *vanitas* – термин, указывающий на пустоту и бессодержательность подобных стремлений. Отсюда понятно, почему заблуждение это, так же, как и скупость, ведет к тому, что цель забывается и ее место занимают средства: «за средствами забывается цель».

Высокая ценность, приписываемая чужому мнению, и постоянные наши заботы о нем настолько преступают, по общему правилу, границы целесообразности, что принимают характер мании, мании всеобщей и, пожалуй, врожденной. Во всей нашей деятельности мы справляемся прежде всего с чужим мнением; при точном исследовании мы убедимся, что почти 1/2 всех когда-либо испытанных огорчений и тревог вытекает из заботы о его удовлетворении. Забота эта составляет подоплюку так легко оскорбляющегося – ввиду болезненной чувствительности – самолюбия, всех наших претензий, всякого тщеславия, суетности и роскоши. Без этой заботы, без этого безумия не было бы и 1/10 той роскоши, какая есть сейчас. На этой заботе покоятся всякая гордость, щепетильность, любой *point d'honneur*, в самых различных видах и сферах, и сколько жертв приносится ей в угоду! Она проявляется еще в ребенке, растет с годами, и сильнее всего становится в старости, когда, по исчезновении способности к чувственным наслаждениям, тщеславию и высокомерию предстоит делиться властью лишь со скупостью. Черта эта резче всего обозначается у французов, у коих она принимает характер эпидемии и выливается в пошлейшее честолюбие, в смешную, карикатурную национальную гордость и в бесстыднейшее хвастовство; но в этом случае тщеславие подкопало само себя, превратив себя в посмешище других наций, а громкое имя «*la grande nation*» – в насмешливую кличку.

Чтобы яснее изобразить ненормальность чрезмерного уважения к чужому мнению, приведу чрезвычайно наглядный, вырисовывающийся крайне рельефно благодаря сочетанию эффектных обстоятельств с характерными штрихами, пример свойственной человеческой природе глупости; на этом примере можно будет определить силу интересующего нас мотива. Привожу отрывок из напечатанного в «*Times*» 31-го марта 1846 г. подробного отчета о только что совершенной казни Томаса Уикса, подмастерья, из мести убившего своего хозяина: «В назначенное для казни утро преступника посетил достопочтенный духовник тюрьмы. Однако Уикс, держась, впрочем, весьма спокойно, не слушал его увещаний. Его занимал один только вопрос: удастся ли ему выказать достаточно мужества пред толпой, собравшейся смотреть на его казнь. И это ему удалось. Проходя по двору, отделявшему тюрьму от выстроенной близ нее виселицы, он сказал: „Теперь я скоро постигну великую тайну, как говорил д-р Додд“. С завязанными руками он без всякой помощи поднялся по лестнице на эшафот; добравшись доверху, он поклонился направо и налево, за что был вознагражден громкими одобрительными возгласами собравшейся тысячной толпы».

Не правда ли, великолепный образчик тщеславия: имея пред собою самую ужасную смерть, а там, дальше – вечность, заботиться лишь о том, какое впечатление удастся произвести на толпу сбежавшихся зевак, и о мнении, какое создается в их умах!

– Точно так же Леконт, казненный в том же году во Франции за покушение на жизнь короля, досадовал, во время процесса, главным образом на то, что ему не удалось предстать пред судом пэров в приличном костюме; даже в минуту казни главной неприятностью было для него то, что ему не позволили побриться перед этим. Что и раньше случалось то же – это мы видим из предисловия к знаменитому роману Матео Алемана «*Гуц-ман де-Альфарак*»,

где он говорит, что иные «глуповатые» преступники, вместо того, чтобы посвятить последние часы исключительно спасению души, пренебрегают этим и тратят их на то, чтобы сочинить и запомнить краткую речь, которую они произнесут с высоты виселицы.

Впрочем, в этих штрихах отражаемся мы сами: ведь редкие, крупные явления дают лучший ключ к разгадке обыденных явлений. Все наши заботы, огорчения, мучения, досада, боязливость и усилия обуславливаются в сущности, в большинстве случаев вниманием к чужому мнению, а потому так же абсурдны, как забота только что упомянутых преступников. – Из того же источника берут обычно начало также зависть и ненависть.

Очевидно, ничто не способствует нашему счастью, строящемуся в большей части на спокойствии и удовлетворенности духа, более, чем ограничение, сокращение этого движущего элемента – внимания к чужим мнениям – до предписываемого благоразумием предела, составляющего, быть может, 1/50 настоящей его силы; надо вырвать из тела терзающий нас шип. Это, однако, очень трудно: ведь дело касается естественной, врожденной испорченности. «Жажда славы – последняя, от которой отрешаются мудрецы», сказал Тацит (Hist. IV, 6). Единственным средством избавиться от этого всеобщего безумия было бы явно признать его таковым и с этой целью выяснить себе, насколько неправильны, извращенны, ошибочны и абсурдны людские мнения, которые поэтому сами по себе не достойны внимания; далее – как мало реального влияния оказывает на нас в большинстве случаев и дел чужое мнение, обычно к тому же неблагоприятное: – почти каждый обиделся бы до слез, если бы узнал все, что о нем говорят и каким тоном это произносится; наконец – что даже честь имеет лишь косвенную, а не непосредственную ценность и т. п. Если бы удалось исцелить людей от их общего безумия, то в результате они бы невероятно выиграли в смысле спокойствия и веселости духа, приобрели бы более твердую, самоуверенную *tenue* и свободу, естественность в своих поступках. Чрезвычайно благоприятное влияние, оказываемое замкнутым образом жизни на наше спокойствие, основано преимущественно на том, что уединение избавляет нас от необходимости жить постоянно на глазах у других и, следовательно, считаться с их мнениями, и этим возвращает нас самим себе. – Но кроме этого мы избежали бы многих реальных несчастий, к которым приводит жажда славы – это якобы идеальное стремление, вернее пагубное безумие, – и получили бы возможность гораздо больше заботиться о реальных благах и беспрепятственно наслаждаться ими. Но, – «все разумное трудно...»

Этот недочет нашей культуры разветвляется на три главных побега: на честолюбие, тщеславие и гордость. Различие между двумя последними состоит в том, что гордость есть уже готовое убеждение самого субъекта в высокой своей ценности, тогда как тщеславие есть желание вызвать это убеждение в других, с тайной надеждой усвоить его впоследствии самому. Другими словами, гордость есть исходящее изнутри, а следовательно непосредственное уважение самого себя, тщеславие же есть стремление приобрести таковое извне, т. е. косвенным путем. Поэтому тщеславие делает человека болтливым, а гордость – молчаливым. Но тщеславный человек должен бы знать, что доброе мнение других, которого он так добивается, гораздо легче и вернее создается молчанием, чем говорливостью, даже при умении красно говорить.

Не всякий, кто хочен быть гордым, – горд на самом деле; самое большее, что он может – это аффектировать гордость, но и этой, как и всякой другой роли, он скоро изменит. Истинно горд лишь тот, кто имеет непоколебимое внутреннее убеждение в своих непреложных достоинствах и особенной ценности. Ошибочно ли это убеждение, основано ли оно лишь на внешних, условных достоинствах – это не играет роли, раз только гордость подлинна и серьезна. Но если гордость коренится в убеждении, она, как и всякое убеждение, не зависит от нашего произвола. Злейшим ее врагом, величайшей ее помехой является тщеславие, добивающееся чужого одобрения для того, чтобы на нем построить собственное убеждение в своих преимуществах; гордость же предполагает наличность такого, притом твердого установившегося убеждения.

Часто порицают, бранят гордость, но я думаю, что нападают на нее главным образом

те, кто не имеет ничего, чем мог бы гордиться. При бесстыдстве и глупой наглости большинства, всякому, обладающему какими-либо внутренними достоинствами, следует открыто выказывать их, чтобы не дать о них забыть; кто в простоте душевной не сознает их и обращается с людьми, как с равными себе, того люди искренно сочтут за ровню. Особенно я посоветовал бы этот образ действий тем, кто обладает высшими – реальными, чисто личными достоинствами, о которых нельзя постоянно напоминать путем воздействия на внешние чувства, путем, напр., орденов и титула; в противном случае может осуществиться латинская поговорка о свинье, поучающей Миневру. «Не шути с рабом, не то он покажет тебе зад», гласит прекрасная арабская пословица; не следует забывать и слов Горация: «выказывай благородство, соответствующее заслугам». Скромность

– это прекрасное подспорье для болванов; она заставляет человека говорить про себя, что и он такой же болван, как и другие; в результате выходит, что на свете существуют одни лишь болваны.

Самая дешевая гордость – это гордость национальная. Она обнаруживает в зараженном ею субъекте недостаток индивидуальных качеств, которыми он мог бы гордиться; ведь иначе он не стал бы обращаться к тому, что разделяется кроме него еще многими миллионами людей. Кто обладает крупными личными достоинствами, тот, постоянно наблюдая свою нацию, прежде всего подметит ее недостатки. Но убогий человек, не имеющий ничего, чем бы он мог гордиться, хватается за единственно возможное и гордится нацией, к которой он принадлежит; он готов с чувством умиления защищать все ее недостатки и глупости. Так, напр., из 50 англичан едва ли найдется один, который согласится с вами, если вы с должным презрением отзоветесь о глупом и унижительном ханжестве его нации; если такой найдется, то он окажется, наверное, умным человеком.

У немцев нет национальной гордости, что лишний раз доказывает их честность; но нет этой честности в тех, кто комично аффектирует национальную гордость, как, напр., «Deutsche Völder» и демократы, лестью совращающие народ. Говорится, правда, что немцы изобрели порох, но я не согласен с этим. Лихтенбер спрашивает: «почему, если человек хочет скрыть свою национальность, он не станет выдавать себя за немца, а большей частью за француза или англичанина?» – Впрочем, индивидуальность значительно перевешивает национальное начало, и в каждом данном человеке она заслуживает в тысячу раз больше внимания, чем это последнее. Нельзя не признать, что в национальном характере мало хороших черт: ведь субъектом его является толпа. Попросту говоря, человеческая ограниченность, извращенность и испорченность принимают в разных странах разные формы, которые и именуется национальным характером. Когда опротивеет один, мы пускаемся расхваливать другой, пока с тем не случится того же. Каждая нация насмехается над другими, и все они в одинаковой мере правы.

Тема этой главы – то, что мы собою представляем, т. е. чем являемся в глазах других, – может быть расчленена, как сказано выше, на вопросы о чести, чине и славе.

Чин, как ни важен он в глазах толпы, как ни велика его польза в работе государственного механизма, – может быть разобран в наших целях в нескольких словах. Ценность его условна, т. е. в сущности, поддельна; проявление его – подлинное почтение, а в общем все это – комедия для толпы. Ордена – это векселя, выданные на общественное мнение; их ценность зависит от кредита заимодавца. Тем не менее, даже помимо тех крупных сумм, которые они, заменяя собою денежное вознаграждение, сберегают государству, – ордена являются и в другом отношении вполне целесообразным учреждением, при условии, что их назначение совершается справедливо и умно. У толпы есть глаза и уши, но крайне мало рассудка и столько же памяти. Одни заслуги лежат вне сферы ее понимания, другие ей понятны, она аплодирует в момент их совершения, но вскоре забывает их. В этом случае я считаю уместным создать в виде креста или звезды всюду и всегда слышное и понятное толпе напоминание: «этот вам не ровня; за ним есть заслуги». При несправедливом, неразумном или щедром назначении орден теряет эту ценность, а потому в этом следует соблюдать такую же осторожность, с какой купец подписывает

векселя. Надпись «pour le m̄rite» на кресте – плеоназм: каждый орден дается «pour le m̄rite» – это само собой разумеется.

Исследование чести будет труднее и пространнее анализа чина. Прежде всего следует ее определить. Если бы я сказал, что честь – это внешняя совесть, а совесть – это внутренняя честь, то это определение понравилось бы, пожалуй, многим, но было бы скорее блестящим, нежели ясным и глубоким. Правильнее сказать, что объективно честь есть мнение других о нашей ценности, а субъективно – наша боязнь пред этим мнением. В этом последнем смысле честь имеет часто благотворное, хотя и не чисто моральное влияние на благородного человека.

Основа и происхождение чувств чести и стыда, присущих каждому не вконец испорченному человеку, и высокой ценности, признаваемой за честью – лежат в следующем. Отдельный человек слаб, как покинутый Робинзон; лишь в сообществе с другими он может сделать многое. Это сознается им с того момента, как начинает развиваться его сознание, и тогда же в нем рождается желание считаться полноправным членом общества, способным активно участвовать в общем деле и, следовательно, иметь право пользоваться всеми выгодами человеческого общества. Он может достигнуть этого, выполняя то, чего ждут и требуют во 1) ото всех и везде, во 2) от него в частности, сообразно с занимаемым им положением. Но он скоро видит, что не столь важно быть деятельным членом общества на свой взгляд и совесть, сколько казаться таковым на взгляд других. Отсюда – старательная охота за благоприятным мнением других и высокая ценность, ему придаваемая; и то, и другое проявляется с непосредственностью врожденного чувства, называемого чувством чести или, при известных условиях, стыдливостью. Это чувство заставляет человека краснеть, когда, считая себя в душе невиновным, он полагает, что проиграл во мнении других, даже если обнаруживающийся промах касается условного, т. е. произвольно возложенного на себя обязательства. С другой стороны, ничто не укрепляет так его жизнерадостности, как возникшая или возобновленная уверенность в благоприятном мнении других о нем: оно обеспечивает ему охрану и помощь соединенных сил общества, составляющих неизмеримо более действительный оплот против житейских зол, чем его собственные силы.

Из различных отношений, в которых человек может находиться к другим, и которыми обуславливается питаемое к нему доверие, т. е. благоприятное о нем мнение, – вытекает несколько видов чести. Главные из этих отношений – это отношения имущественные, служебные обязанности и отношение полов; им соответствуют честь гражданская, служебная и половая, из коих каждая имеет еще несколько подразделений.

Самую широкую сферу охватывает гражданская честь; она заключается в предположении, что мы безусловно уважаем права каждого и поэтому никогда не воспользуемся к своей выгоде несправедливыми или законом запрещенными средствами. Она – первое условие для участия во всех мирных сношениях. Она теряется при первом же открыто и резко вредящем этим сношениям поступке, следовательно, с первым уголовным наказанием, правда, при условии его справедливости. Первичной основой чести всегда является убеждение в неизменности нравственного характера человека, так что единственный скверный поступок заставляет предполагать, что и все дальнейшие действия при тех же условиях будут иметь тот же скверный характер; на это указывает и английский термин «character»<sup>9</sup>, обнимающий репутацию и честь. Поэтому потерянную честь нельзя восстановить, разве что эта потеря основана на ошибке, клевете или недоразумении. Клевета, пасквили и оскорбления караются законом: ведь оскорбление или брань – это в сущности та же клевета, лишь ничем не обоснованная; греки выразились бы: «оскорбление – это клевета вкратце» (впрочем, такого изречения нет нигде). Ругая кого-либо, человек тем самым показывает, что он не может привести против него ничего обоснованного и верного, ибо

---

9 Соответствует нашему понятию «типа».



иначе он начал бы с этого, а вывод спокойно предоставил бы другим; вместо этого он выносит свое заключение, не давая посылок; он рассчитывает обыкновенно, что слушатели предположат, будто он поступает так лишь ради краткости.

Термин «*Vürgerliche Ehre*» – гражданская честь, производится от слова «*Vürger*»; тем не менее действие ее распространяется на все сословия без различия, не исключая и высших; никто не изъят от ее велений; она играет столь важную роль, что всякий должен остерегаться относиться к ней слегка. Кто нарушил раз доверие – теряет его навсегда; что бы он ни делал и чем бы он ни был – горькие плоды этой потери не заставят себя ждать.

Честь имеет в известном смысле отрицательный характер, в противоположность славе, имеющей характер положительный; честь есть мнение не об особенных свойствах, присущих только данному субъекту, а об таких, какие предполагаются во всех людях, а в частности, следовательно, и в данной личности. Честь субъекта показывает лишь, что он не составляет исключения – слава же – что он является именно исключительной личностью. Поэтому славу приходится завоевывать, честь же – только хранить, не терять. Отсутствие славы есть безызвестность, нечто отрицательное; отсутствие чести – позор, нечто положительное. Эту отрицательность не следует смешивать с пассивностью; напротив, честь имеет вполне активный характер. Она истекает единственно из ее субъекта, основывается на его деяниях, а не на поступках других и не на том, что с ним случается, словом, честь – это качество внутреннее. Мы скоро убедимся, что это и есть признак, отличающий истинную честь от рыцарской, ложной. Чести можно повредить извне лишь путем клеветы; единственная защита от клеветы – это опровержение ее с надлежащей гласностью и с обнаружением ее несостоятельности.

По-видимому, уважение к старости основано на том, что, хотя у молодых людей и предполагается честь, но она еще не испытана, и признается за ними как бы в кредит. У людей же пожилых за срок их жизни выяснилось, доказали ли они на деле свою честь. Ни возраст сам по себе, – так как животные достигают иногда более преклонных лет, чем люди, – ни опыт, в смысле близкого знакомства с жизненным круговоротом, не являются достаточным основанием уважения младших к старшим, требуемого повсюду; слабость преклонного возраста могла бы вызывать скорее снисхождение, чем уважение. Замечательно, что человеку врождено и переходит постепенно в инстинкт почтение именно к седине. Морщины – гораздо более верный признак старости – не внушают этого почтения; очень часто говорят «почтенная седина» и никогда – «почтенные морщины».

Честь имеет лишь косвенную ценность. Как показано в начале этой главы, мнение других ценно для нас лишь постольку, поскольку им определяется, или может при случае зависеть от него обращение людей с ними. Но ведь эта зависимость существует все время, пока мы живем с людьми. Так как при нашей цивилизации безопасностью и собственностью мы обязаны лишь обществу и во всех предприятиях нуждаемся в других, которые станут помогать нам лишь в том случае, если питают к нам доверие, – то их мнение имеет хотя и косвенную, но все же высокую ценность для нас; признать за ним непосредственную ценность я, однако, никак не могу; того же мнения держится Цицерон (fin. 113, 17) : «Хризипп и Диоген говорили, что если вычесть пользу, приносимую нам доброй славой то не стоило бы пошевелить пальцем ради нее; с этим я вполне согласен». Ту же идею более пространно излагает Гельвеций в мастерском исследовании «*De L'esprit*» (Disc. III, ch. 13) и приходит к следующему: «Мы ценим уважение не ради его самого, а ради доставляемых им выгод». А так как средство не может быть выше, дороже цели, то торжественная фраза «честь выше жизни» остается, как сказано, гиперболой. – Вот все, что можно сказать о гражданской чести.

Служебная честь есть всеобщее мнение о том, что человек, занимающий какую-либо должность, действительно обладает всеми необходимыми для того данными и всегда точно исполняет свои служебные обязанности. Чем важнее и шире сфера деятельности человека в государстве, чем выше и влиятельнее занимаемый им пост, тем выше должно быть мнение о его умственных и нравственных качествах, делающих его достойным этого поста;

параллельно с последним повышается и степень его чести, выражающейся вовне в орденах, титуле и т. п.; вместе с тем растет и «подчиненность» в обращении с ним. Обыкновенно и сословие в такой же мере определяет тот или иной объем чести, разнообразящийся, правда, в зависимости от того, насколько толпа уясняет себе значение данного сословия. Но всегда за тем, кто имеет и выполняет особые обязанности, признается больше чести, чем за рядовым гражданином, честь коего носит преимущественно отрицательный характер.

Далее, служебная честь требует, чтобы занимающий известную должность поддерживал бы ради своих коллег и преемников, уважение к ней путем точного исполнения своих обязанностей, а также чтобы он не оставлял безнаказанными нападки на должность или на себя, в качестве ее представителя, т. е. обвинения в том, что он плохо исполняет свое дело или что сама должность вредит общему благу; подвергнув виновного законному наказанию, он должен доказать, что его нападки несправедливы.

Служебная честь подразделяется на честь чиновника, врача, адвоката, учителя, даже ученого, иначе говоря – каждого, кто официальным актом признан способным к исполнению известного умственного труда и возложившего поэтому на себя известные обязанности; словом – честь всех, принадлежащих к категории общественных деятелей. Сюда же относится и истинная воинская честь; она состоит в том, что каждый, принявший на себя обязанность защищать отечество, действительно должен обладать необходимыми для того качествами, т. е. прежде всего храбростью и силой, постоянною готовностью до последней капли крови защищать родину и ни в коем случае не покидать знамени, которому он присягал.

Я придал служебной чести смысл шире того, какой вкладывается обыкновенно в этот термин: обычно им обозначают только уважение, с каким следует относиться к самой должности.

Половая честь, ее источники и основные положения требуют на мой взгляд подробнейшего рассмотрения и исследования; кстати, при этом мы выясним, что всякая честь основана, в конце концов, на соображениях целесообразности. – По своей природе половая честь разделяется на мужскую и женскую и является в обоих случаях проявлением вполне разумного «*esprit de corps*»<sup>10</sup>. Женская честь несравненно важнее мужской, так как в жизни женщины половые отношения играют главную роль. Женская честь заключается во всеобщем мнении, что девушка не принадлежала ни одному мужчине, и что замужняя женщина отдавалась лишь своему мужу. Важность этого мнения обуславливается следующим. Женский пол требует и ждет от мужского всего, чего он желает и в чем он нуждается; мужчины же требуют от женщин прежде всего и непосредственно лишь одного. Следовательно, надлежит устроить так, чтобы мужской пол мог получать от женского это одно не иначе, как взяв на себя заботы обо всем и в частности о рождающихся детях; на этом порядке покоится все благосостояние женского пола. Чтобы провести его в жизнь, все женщины должны соединиться, развить в себе прочный «*esprit de corps*». Тогда они, как одно целое, сплоченной массой выступают против мужчин, владеющих, благодаря природному превосходству физической и духовной силы, всеми земными благами, – как против общего врага, которого следует победить, покорить и этой победой забрать земные блага в свои руки. Ввиду этой цели первая заповедь женской чести заключается в том, чтобы не вступать во внебрачное сожитительство с мужчинами, дабы каждый мужчина вынуждался к браку, как к капитуляции; этим весь женский пол был бы обеспечен. Этой цели можно вполне достигнуть лишь при строгом соблюдении приведенной заповеди; и женский пол поэтому с истинным «*esprit de corps*» блюдет за неуклонным соблюдением ее всеми его членами. На этом основании каждая девушка, изменившая своему полу путем внебрачного сожитительства, изгоняется из женской среды – ибо, если бы ее образ действий стал всеобщим, пострадало бы благосостояние всего женского пола, – и считается обесчещенной; – она потеряла честь.

Ни одна женщина не должна знаться с ней; ее избегают, как зачумленной. Та же участь ждет изменившую мужу жену, ибо она нарушила заключенное с ним условие, и этот пример ее отпугнет других мужчин от совершения брачной сделки, на которой, как сказано, зиждется благосостояние всего женского пола. Сверх того за грубое нарушение данного слова, за обман, она теряет вместе с половой честью честь гражданскую. Поэтому говорят иногда снисходительным тоном: «падшая девушка», но не сожалеют о «падшей женщине»; соблазнитель может женитьбой восстановить честь девушки, но ни развод, ни брак с любовником не возвратят чести изменившей жене.

Убедившись из сказанного, что подоплекой женской чести является не что иное, как спасительный, даже неизбежный, хорошо рассчитанный и опирающийся на прямую выгоду «*esprit de corps*», можно признать огромную важность этой чести в жизни женщины и ее крупную относительную ценность, но никак нельзя приписать ей абсолютной ценности, поставить ее выше жизни и ее целей или считать, что ради нее должно жертвовать жизнью. Не следует поэтому аплодировать вырождающимся в трагические фарсы экзальтированным поступкам Лукреции и Виргиния. Конец Эмилии Галотти настолько возмутителен, что с представления уходит в отвратительнейшем настроении. И наоборот, вопреки всем принципам половой чести нельзя не симпатизировать Клерхен из Эгмонта. Доводить до последней крайности веления женской чести

– это значит за средствами терять из виду саму цель; этим половой чести придается абсолютная ценность, тогда как она, как и всякая честь, имеет лишь ценность относительную, скорее даже условную: стоит прочесть Томазиуса «*De concubinato*», чтобы увидеть, что в большинстве стран и эпох до реформации Лютера конкубинат был дозволенным, санкционированным законом институтом, при котором конкубина продолжала считаться честной; нечего и говорить о Милите Вавилонской (Herodot, I, 199).

Иногда общественный строй делает невозможным соблюдение формальной, официальной стороны брака, в особенности в католических странах, где нет развода; больше всего приходится считаться с этим правителям, которые, на мой взгляд, поступают нравственнее, обзаводясь любовницей, чем вступая в морганатический брак; ибо потомство от этого брака, в случае вымирания законной линии, может выступить претендентом на престол; поэтому такой брак делает возможной, хотя и в отдаленном будущем, междоусобную войну. Помимо того, брак морганатический, т. е. заключенный наперекор всем внешним условиям, является в конце концов концессией, дарованной женщинам и попам, – двум классам, которым надо остерегаться предоставлять что бы то ни было. Нельзя забывать, что каждый может свободно выбирать себе жену, кроме одного только, лишенного этого естественного права: этот бедняга – правитель страны. Его рука принадлежит стране и он, предлагая ее, должен руководствоваться государственной пользой – благом страны. Но ведь он человек и хочет хоть в чем-нибудь следовать влечению своего сердца. Поэтому несправедливо, неблагодарно и низко запрещать правителю иметь любовницу или упрекать его за это, пока, разумеется, ей не предоставляется влиять на дела правления. Но и сама фаворитка в отношении половой чести стоит совершенно особо, изъята из общей нормы: ведь она отдалась мужчине, который ее любит, любим ею, но не может на ней жениться.

Что принцип женской чести не чисто естественного происхождения, – об этом свидетельствуют бесчисленные кровавые жертвы, приносимые ему в виде детоубийства и самоубийства матерей. Правда, девушка, вступающая в незаконное сожителство, изменяет этим всему своему полу; но ведь в верности ему она обязалась лишь молчаливым соглашением, а не клятвой. И так как, обычно, от этого страдает прежде всего ее собственный интерес, то следовательно, неразумности в ее поступке гораздо больше, чем испорченности.

Половая честь мужчин создается благодаря женской чести, в силу противоположного «*esprit de corps*», требующего, чтобы каждый, вступивший в столь выгодную для противной стороны сделку – в брак – следил бы отныне за ее нерушимостью, дабы самый договор не потерял бы своей прочности при небрежном к нему отношении, и дабы мужчины, отдавая

все, могли быть уверены в том единственном, что они себе выговаривают – в неразделенном обладании женою. Поэтому мужская честь требует, чтобы муж мстил за измену жены или, по крайней мере покидал бы ее. Если он, зная об измене, примирится с нею, то общество мужчин покроет его позором, который, правда, далеко не так тяжел, как позор, падающий на потерявшую половую честь женщину; это лишь «легкое бесчестье», – ибо у мужчины половые отношения занимают подчиненное место, так как у него много других более важных. Два великих драматурга нового времени избрали, каждый по два раза, сюжетом мужскую честь: Шекспир в «Отелло» и «Зимней сказке» и Кальдерон в «El medico du su honora» и «A secreto agravio sйcгйta venganza». Честь эта требует лишь наказания жены, не любовника, место коему имеет «добавочный», факультативный характер, чем еще раз подтверждается происхождение чести из мужского «esprit de corps».

Честь в тех видах и принципах ее, какие я до сих пор рассматривал, встречается и действует у всех народов, во все времена; правда, иногда, в зависимости от условий места и времени, несколько меняется принцип женской чести. Но есть еще один вид чести, совершенно отличный от всеобщей, всюду признаваемой чести, о котором не имели понятия ни греки, ни римляне, а китайцы, индусы, магометане не слышали и по настоящее время. Этот род чести возник в Средние века, привился лишь в христианской Европе, но и то только среди крайне ограниченной группы населения, а именно в высшем слое общества и в тех слоях, которые к нему подлаживаются. Это – честь рыцарская, так наз. «point d'honneur». Так как принципы ее совершенно отличны от той чести, о которой мы говорили, и даже частью противоположны им (ибо первая создает «честного человека», а вторая, – «человека чести»), то я изложу в отдельности все положения, образующие зеркало, кодекс рыцарской чести.

1) Честь заключается не во мнении других о нашей ценности, но единственно в выражении этого мнения; существует ли это мнение в действительности или нет – это безразлично, не говоря уж о том, обосновано ли оно. Согласно этому, другие могут быть, вследствие нашего поведения, самого скверного о нас мнения и глубоко презирать нас; но, пока никто не осмеливается громко его высказать, оно нимало не вредит чести. И наоборот, если наши качества и поступки таковы, что вынуждают всех окружающих (ибо это не зависит от их произвола) высоко ценить нас, то стоит кому-нибудь, будь это гнуснейшая и глупейшая личность, выказать нам презрение – и наша честь уже оскорблена, даже потеряна навеки, если мы ее не восстановим. Лишним доводом к тому, что в данном случае важно отнюдь не мнение других, а лишь его выражение, служит то, что оскорбления могут быть взяты назад, в них можно извиниться, после чего они считаются как бы не нанесенными, изменилось ли при этом само мнение, вследствие коего они последовали, и почему оно изменилось – это не играет роли; достаточно аннулировать внешнюю сторону оскорбления и делу конец. Значит, все сводится не к тому, чтобы заслужить уважение, а чтобы вынудить его.

2) Честь человека зависит не от того, что он делает, а от того, что он претерпевает, что с ним случается. По основному положению только что рассмотренной, всюду действующей чести, она зависит только от того, что говорят или делают другие: она находится, следовательно, в руках, висит на кончике языка каждого встречного; стоит ему захотеть – и она потеряна навеки, если оскорбленный не восстановит ее особым актом, речь о котором впереди; акт этот сопряжен, однако, с опасностью для его жизни, свободы, имущества и душевного покоя. Поведение человека может быть чрезвычайно порядочным, благородным, его характер – прекрасным и ум – выдающимся, – и все же его честь каждое мгновение может быть отнята: стоит лишь обругать его первому попавшемуся, который, хотя сам и не нарушил законов чести, но в остальном – последний из негодяев, тупейшая скотина, бездельник, картежник, запутан по уши в долгах – словом личность, не годящаяся оскорбленному и в подметки. В большинстве случаев именно такие типы и оскорбляют порядочных людей; Сенека правильно заметил: «чем ниже, чем более презираем человек, тем развязнее его язык» (de consiantia 11); такой тип вероятнее всего накинется именно на порядочного человека: ведь противоположности ненавидят друг друга, а крупные

достоинства пробуждают обычно глухую злобу в ничтожных людях; по этому поводу Гете выразился: «Не жалуйся на врагов; хуже было бы, если бы они стали друзьями, которым твоя личность была бы вечным, тайным упреком».

Ясно, насколько люди только что описанного пошиба должны быть признательны этому принципу чести, ставящему их на одну доску с теми, кто во всех остальных отношениях неизмеримо выше их. Если такой субъект обругает, т. е. припишет другому какое-либо скверное свойство, то хоть на время это сойдет за объективно верное и обоснованное суждение, за нерушимый приговор и будет на веки вечные почитаться справедливым, если не будет смыто кровью; словом, оскорбленный, проглотивший оскорбление, остается на взгляд так наз. «людей чести» тем, чем его назвал оскорбитель (будь это гнуснейший человек). За это «люди чести» глубоко презирают его, избегают, как зачумленного, напр., открыто, громко отказываются посещать те дома, где он бывает, и т. п. С уверенностью можно отнести происхождение этого мудрого взгляда к Средним векам, когда, вплоть до XV столетия, в уголовном процессе не обвинитель должен был доказывать вину, а обвиненный – свою невинность. Это совершалось путем «очистительной» клятвы, для чего требовались однако еще *consacramentales* – друзья, которые поклялись бы, что уверены в том, что обвиненный не способен на лжеприсягу. Если таких друзей не было, или обвинитель предъявлял против них отвод, то оставался Божий суд, обычно в виде поединка – обвиненный должен был себя очистить, «смыть с себя навет». Вот откуда берет начало понятие «смыть обиду», да и весь кодекс чести, принятый в среде «людей чести»; из него выпала разве только одна клятва.

Этим объясняется глубокое возмущение, неизменно охватывающее «людей чести» при обвинении их во лжи, и заставляющее их требовать крови – мести, представляющаяся, при обыденности лжи, весьма странной; в Англии, напр., убеждение в ее обязательности выросло прямо-таки в суеверие. Будто уж всякий, грозящий смертью за обвинение его во лжи, сам ни разу не солгал в своей жизни?...

Средневековой уголовный процесс имел и более краткую форму: обвиненный отвечал обвинителю: «ты лжешь», после чего прямо назначался суд Божий; поэтому-то рыцарский кодекс чести предписывает в ответ на обвинение во лжи тотчас же вызывать на поединок.

Вот все, относящееся к оскорблению. Но есть, однако, нечто еще похуже оскорбления, нечто столь страшное, что я за одно лишь упоминание об этом в связи с кодексом рыцарской чести, прошу извинения у «людей чести», зная, что при одной только мысли об этом у них забегают мурашки по коже и волосы станут дыбом; это – величайшее зло – *summum malum*, хуже смерти и вечного проклятия. Может случиться – *horribile dictu* – один даст другому оплеуху, ударит его. Это ужасное событие влечет за собою окончательную потерю чести, и если другие оскорбления смываются кровопусканием, то эта обида может быть начисто смыта только убийством.

3) К чести не имеет никакого отношения то, каков данный человек сам по себе, может ли измениться его нравственный облик и тому подобные «праздные» вопросы. Раз она задета, или на время утеряна, то, если поспешить, ее можно скоро и вполне восстановить одним только способом – дуэлью. Но если оскорбитель не принадлежит к сословию, исповедующему кодекс рыцарской чести или преступил однажды против нее, то при оскорблении словом, а тем паче действием, приходится прибегать к серьезной операции: убить его тут же на месте, если есть при себе оружие, или не позже, чем через час – и честь спасена. Однако, если желательно избежать этого шага из боязни связанных с ним неприятностей или если неизвестно, подчинится ли оскорбитель законам рыцарской чести или нет, то остается еще один паллиатив. Если он был груб, надо поступить с ним еще грубее; если при этом ругани недостаточно, – можно избить его; для спасения чести в таких случаях существует ряд рецептов: пощечина исцеляется ударом палки, эти последние – плетью; для лечения ударов плети иные рекомендуют, как отличное, испытанное средство – плевок в лицо. Если же пропустить момент для всех этих средств, то остается только прибегнуть к кровопусканию. – Такой метод лечения вытекает в сущности из следующего

положения.

4) Насколько постыдно быть обруганным, настолько почетно быть оскорбителем. Хотя бы на стороне противника были истина, право, разум и логика, но обругай я его – и всего этого он лишается, право и честь оказываются на моей стороне, его же честь утрачена, пока он не восстановит ее, притом не правом, не доказательствами, а выстрелом или ударом. Поэтому грубость является фактором, заменяющим, перевешивающим в вопросах чести все остальные; прав тот, кто грубее. Какую бы глупость, мерзость, какую бы гадость ни учинил человек, все это стирается, легитимируется грубостью. Если кто-либо в споре или беседе выкажет более правильное понимание вопроса, большую правдивость, больший ум и сделает более верный вывод, чем мы, или вообще обнаружит внутренние достоинства, отсутствующие у нас, – то стоит нам его оскорбить, нагрубить ему, и все преимущества пропали, наше собственное убожество забыто и наше превосходство над ним считается доказанным. Грубость – это наисильнейший аргумент, против которого не устоит никакой ум, разве что противник избирает тот же метод и вступает с ним в благородный поединок на этом оружии. Если он этого не сделает

– мы победили, честь на нашей стороне; истина, ум, знание, остроумие – устранены и уступают дорогу грубости. Поэтому «люди чести», как только кто-либо выскажет мнение, расходящееся с их собственным, или обнаружит больше ума, чем имеется у них,

– сейчас же принимают боевую позицию; если в каком-либо споре у них не хватает аргумента, они принимаются за грубости, которые сослужат ту же службу и к тому же легче могут быть придуманы; в результате они уходят победителями. – Отсюда видно, насколько справедливо, что этот принцип чести облагораживает общество.

Положение это выводится из следующего основного принципа, составляющего ядро, центр всего кодекса.

5) Верховное судилище, к которому в последнюю очередь следует обращаться со всеми недоразумениями в вопросах чести – это физическая сила, животность. Всякая грубость есть в сущности апелляция к животности; уклоняясь от борьбы разума и нравственного права, она признает только борьбу физической силы; борьба эта ведется человеческой породой (которую Франклин называл «породой изготовляющей орудия») специально для этой цели изготовленным оружием, в форме дуэли, и на такое решение спора уже нет апелляции. Этот принцип может быть characterized термином «кулачное право»; поэтому рыцарская честь должна бы называться «кулачной честью» – Faustehre.

6) Выше мы видели, что гражданская честь крайне щепетильна в вопросах имущества, принятых на себя обязательств и данного слова; рассматриваемый же ныне кодекс оказывается весьма либеральным в этих пунктах. Есть только одно слово, которое нельзя нарушать – это то, к которому прибавлено «клянусь честью»; следовательно, остается предположить, что всякое другое слово можно нарушать. Но даже и при нарушении «честного слова» честь еще может быть спасена тем же универсальным средством – дуэлью, дуэлью с тем, кто утверждает, что было дано это «честное слово». – Есть далее только один долг, который должен быть непременно уплачен – долг карточный, называемый поэтому долгом чести; остальные долги можно вовсе не платить – рыцарская честь от этого не страдает.

Каждый нормальный человек поймет сразу, что этот оригинальный и смешной варварский кодекс чести вытекает отнюдь не из сущности человеческой природы, не из здравого понимания людских отношений. Это подтверждается крайне ограниченной сферой его применения; таковой является исключительно Европа, и то лишь со Средних веков, притом только среда дворянская, военная и подлаживающиеся к ним слои. Ни греки, ни римляне, ни высоко цивилизованные народы Азии древней и новой эпох не имеют понятия об этой чести и ее принципах. Для них нет иной чести, кроме той, которую я назвал гражданской.

Все они ценят человека по тому, что он обнаружил в своих действиях, а не по тому, что взболтнет про него какой-нибудь вздорный, развязный язык. Всюду у них то, что скажет или

сделает человек, может погубить только его честь, но не чью-либо иную. Все они видят в ударе только удар; лошадь или осел ударяют только сильнее – вот и все. Иногда удар может раздражить, и будет отмщен на месте; но честь здесь ни при чем; никто не станет подсчитывать удары, обиды и число потребованных и не потребованных «сатисфакций». Народы эти в храбрости, в презрении к жизни не уступают нациям христианской Европы. Греки и римляне были в полном смысле героями, но о «point d'honneur» они и понятия не имели. Поединок был у них делом не благородных классов, а презренных гладиаторов, бежавших рабов, приговоренных преступников, которых, по очереди с дикими зверями, натравляли друг на друга на потеху толпы. На заре христианства гладиаторские игры исчезли; при его торжестве их место заняла – под личиною Божьего суда – дуэль. Если эти игры были жесткой данью, отдаваемой всеобщей страсти к зрелищам, то дуэль – та же дань, выплачиваемая предрассудку, но уже не преступниками и рабами, а свободными, благородными людьми.

Множество дошедших до нас данных свидетельствуют, что древние были свободны от этого предрассудка. Когда один из тевтонских вождей вызвал Мариа на поединок, этот герой ответил: «если тебе надоела жизнь, можешь повеситься» и предложил ему подраться с одним знаменитым гладиатором. У Плутарха (Them. 11) мы читаем, что начальник флота, Еврибиад, споря с Фемистоклом, взялся за палку, чтобы его побить, на что тот и не подумал обнажить меча, а просто сказал: «бей, но выслушай меня». Как будет огорчен «человек чести», не найдя никаких указаний на то, что г. г. афинские офицеры немедленно же после этого заявили о своем отказе служить под начальством Фемистокла!

Правильно заметил один из новых французских писателей: «тот кто осмелился бы сказать, что Демосфен был честным человеком, вызвал бы улыбку сожаления; о Цицероне же и говорить нечего» (Soirees Litteraires par C. Durand Roven 1828. Vol. 2, p. 300). Далее, Платон (de leg. IX поел. 6 стр. и XI, p. 131) в главе, трактующей об оскорблениях, ясно показывает, что древние не имели и представления о принципах рыцарской чести. Сократа вследствие многих его диспутов часто оскорбляли действием, что он спокойно переносил: получив раз удар ногой, он хладнокровно отнесся к этому и удивил обидчика словами: «разве я пошел бы жаловаться на лягнувшего меня осла?» (Diogen. Laert. II, 21). Другой раз ему сказали: «разве тебя не оскорбляют ругательства этого человека», на что он ответил: «нет, ибо все это не приложимо ко мне» (ib. 36). Стобеус (Florileg. ed.

Gaosford. Vol. 1, p. 327 – 330) сохранил длинный отрывок Музония, из коего видно, как древние смотрели на обиду: многого удовлетворения как суд они не знали, а мудрецы даже и к нему не обращались. Что древние искали удовлетворения за пощечину лишь судом, – это видно из Gorgia Платона (стр. 86); там же приводится и мнение об этом Сократа (стр. 133). То же подтверждает рассказ Гелиуса (XX, I) о некоем Луции Верации, забавлявшемся тем, что он без всякого повода давал пощечины всем встречавшимся на улице гражданам и с целью избежать судебной процедуры водил за собой раба с мешком медных денег, из которого пораженному прохожему выплачивал законом установленные 25 ассов. – Кратес, знаменитый циник, получил от музыканта Никодрома столь сильную оплеуху, что его лицо распухло и покрылось синяками. Тогда он прикрепил ко лбу дощечку с надписью «Nicodromus fecit» «и этим покрыл позором флейтиста, так грубо обошедшегося (Diog. Laert. VI, 33) с человеком, которого обожали все афиняне (Apul. Noг. p. 126). У нас имеется еще на эту тему письмо избитого в Синопе пьяными греками Диогена к Мелезиппу, где он говорит, что „это для него неважно“ (Nota Casaub. ad Diog. Laert. VI, 33). – Сенека в книге „De constantia sapientis“ с X главы и до конца подробно рассматривает оскорбления и приходит к тому выводу, что мудрец не должен обращать на них внимания. В XIV главе он говорит: „что делать мудрецу, получившему пощечину? – То же, что сделал в этом случае Катон: он не рассердился, не пожаловался, не возратил ее, – он просто отрицал ее“.

Да, скажете вы, то были мудрецы. А мы, значит, тупицы? – Согласен.

Мы видели, что древним совершенно незнаком рыцарский кодекс чести; они всегда и во всем проводили непосредственный, естественный взгляд на вещи и не поддались гипнозу

этих мрачных и пагубных ухищрений. Поэтому в ударе по лицу они видели лишь то, что он есть на самом деле – небольшое физическое повреждение. Уже позднее пощечина сделалась катастрофой и излюбленной темой трагедий; как, напр., в Корнелевском «Сиде» и в немецкой драме, названной «Сила обстоятельств» тогда как ее следовало бы назвать «Сила предрассудка». Если в Пражском Национальном Собрании дадут кому-либо пощечину, то это гремит по всей Европе.

«Людам чести», расстроенным приведенными воспоминаниями о классическом мире и примерами из древнегреческих эпох, я посоветую в виде противоядия прочесть в «Jacques, le fataliste» Дидро историю Деглана – великолепнейший образец рыцарской чести, который их утешит и удовлетворит.

Из сказанного достаточно ясно, что рыцарская честь не первична, не заложена в основу человеческой натуры. Ее принципы

– искусственны; их происхождение нетрудно открыть. Эта честь

– порождение тех времен, когда за кулаком признавалось большее значение, чем за мозгами, и попы держали разум в оковах, – т. е. Средних веков и их пресловутого рыцарства. В те времена Бога заставляли не только заботиться о нас, но и судить нас. Поэтому сложные процессы решались судом Божиим – ордалиями; дело сводилось, за редким исключением, к поединкам, которые происходили не только между рыцарями, но и между бюргерами, как это показывает великолепная сцена у Шекспира (Henry VI, p. II, A.2, Se. 3).

На любое судебное решение можно было апеллировать к высшей инстанции – к Божьему суду, поединку. Собственно говоря, этим путем судебное полномочие отдавалось вместо разума физической силе и ловкости – т. е. чисто животным свойствам; вопрос о праве решался на основании не того, что сделал человек, а того, что с ним случилось – совершенно в согласии с ныне действующим принципом чести. Тому, кто сомневается в этом происхождении дуэли, советую прочесть отличную книгу J. Mellinger «The history of Duelling» 1849. Даже поныне среди людей, исповедывающих принципы рыцарской чести – кстати сказать редко бывающих образованными и мыслящими – можно встретить таких, которые в исходе дуэли видят Божье решение по поводу вызвавшего ее спора; конечно, такое мнение объясняется наследственной передачей его от средневековой эпохи.

Таков источник рыцарской чести; тенденция ее по преимуществу та, чтобы путем угрозы, физического насилия принудить человека к внешнему изъявлению того уважения, приобрести которое в действительности кажется или слишком трудным или излишним. Это почти то же самое, как если бы, рукою нагревая шарик термометра, на основании поднятия ртути стали бы доказывать, что наша комната натоплена. При ближайшем рассмотрении суть дела сводится к следующему: тогда как гражданская честь, как сообразующаяся с потребностью в мирном общении с другими, состоит в мнении этих других о том, что мы, безусловно уважая права каждого, и сами заслуживаем полного доверия, – честь рыцарская заключается в мнении, что нас следует бояться, так как мы решились ревниво охранять наши собственные права. Мысль, что важнее внушать страх к себе, чем доверие, была бы, пожалуй, правильна (на людскую справедливость ведь нечего много рассчитывать) если бы мы находились в первобытном состоянии, когда каждый непосредственно защищал себя и свои права. Но при цивилизации, когда государство взяло на себя охрану нашей личности и собственности, это положение отпадает; оно без толку доживает свои дни, как замки и башни времен кулачного права среди возделанных полей, оживленных дорог и рельсовых путей.

Вот причина, почему сфера рыцарской чести ограничивается лишь теми насилиями над личностью, которые или легко, или по принципу *de minimis lex non curat*<sup>11</sup> совсем не наказуются государством, как напр. легкая обида или простое поддразнивание. Занимаясь этими мелочами, рыцарская честь приписывает личности совершенно несообразную с

---

11 Закон не заботится о мелочах.



природой и жизнью людей ценность, возводя личность в нечто священное, считает недостаточными судебные кары за незначительные оскорбления и сама мстит за них, лишая обидчика здоровья или жизни. Очевидно, это обуславливается чрезмерной гордостью, возмутительнейшим высокомерием; человек, забывая, что он представляет собою на самом деле, претендует на абсолютную неприкосновенность своего имени и на полную безупречность. Собственно, тот, кто намерен силой охранять себя от всякой обиды, и провозглашает принцип: «кто обидит или ударит меня – будет убит», – за одно это достоин быть высланным из страны<sup>12</sup>. Люди всячески стараются скрасить это несурзное высокомерие. Храбрый человек не должен уступать; поэтому каждое легкое столкновение должно переходить в брань, затем в драку и, наконец, в убийство; впрочем «шикарнее» пропустить промежуточные фазисы и сразу взяться за оружие. Подробности той процедуры регулируются крайне педантичной системой, рядом законов и правил – поистине трагический фарс, храм, воздвигнутый во славу глупости. – Здесь ошибочен самый отправной пункт: в незначительных вопросах (вопросы серьезные отдаются на решение суда) из двух бесстрашных людей один всегда должен уступить: это тот, кто умнее; если же дело касается одних только мнений, то им и заниматься не стоит. Доказательством тому является народ, или вернее, те многочисленные классы общества, которые не исповедуют рыцарской чести и среди коих распри протекают естественным образом. Среди этих классов убийство в 1000 раз реже, чем среди высших, преклоняющихся пред принципом рыцарской чести и составляющих какую-нибудь 1/1000 всей нации; здесь даже драки бывают редко.

Утверждают иногда, что краеугольным камнем хорошего тона и добрых нравов общества является именно этот принцип рыцарской чести и дуэль, преграждающая якобы всякое проявление грубости и необузданности. Однако в Афинах, в Коринфе, в Риме без сомнения было хорошее, даже очень хорошее общество, встречался и хороший тон, и добрые нравы, и все это без всякого участия рыцарской чести. Правда, там, – не так как у нас – женщины не играли первой роли в обществе. Главенство женщин не только придает разговорам фривольный, пустой характер, не допуская никакой серьезной, содержательной беседы, но и способствует, без сомнения, тому, что в глазах общества пред личной храбростью отступают на задний план все другие достоинства; тогда как в сущности храбрость – это подчиненная, «унтер-офицерская» добродетель, в которой нас к тому же превосходят звери, почему и говорят, напр., «храбр как лев». Даже больше: вопреки приведенному уверению, принцип рыцарской чести часто покровительствует как бесчестности и гадости, так и более мелким свойствам: невоспитанности, самообожанию и лени; ведь мы часто потому не мешаемся в разные паскудные дела, что ни у кого нет охоты рисковать жизнью ради наказания виновных. – Мы видим, что сообразно с этим дуэль процветает и практикуется с особенной кровожадностью именно в той нации, которая в политических и финансовых делах обнаружила недостаток истинной честности; насколько приятны частые сношения с ее гражданами – об этом знают все, кто это испытал; что касается вежливости и культурности их общества, то в этом отношении они давно

---

12 Рыцарская честь – порождение высокомерия и глупости. (Противоположный принцип резче всего выражен словами: «Нищета людей – наследие Адама»). Замечательно, что это безмерное высокомерие встречается исключительно среди последователей тех религий, которые обязывают верующих к крайнему смирению; ни в древности, ни в других частях света не исповедуется этот принцип рыцарской чести. Однако его возникновению мы обязаны не религии, а феодализму, при котором каждый дворянин мнил себя сувереном и поэтому не признавал над собою никакого людского суда; он привык верить в полнейшую неприкосновенность, святость своей личности, и всякое покушение на нее, всякий удар, всякое бранное слово казалось ему преступлением, заслуживающим смерти. Вот почему честь и дуэль были первоначально привилегиями дворянства, а в позднейшие времена – офицерства; подчас к этой группе примыкали – но не вполне – и другие высокие классы, с целью не отставать от них. Хотя дуэль и возникла из ордалий, но все же эти последние являются не причиной, а следствием, – проявлением принципа чести: не признавая людского суда, человек апеллировал к Божьему. – Ордалии свойственны не только христианству; они встречаются и у индусов, хотя главным образом в древние времена; впрочем, следы их остались там и поныне.

пользуются дурной славой.

Итак, все приведенные аргументы несостоятельны. С большим основанием можно утверждать, что как собака лает, когда ее дразнят, и ласкается, когда ее ласкают, так и человеческой натуре свойственно на неприязнь отвечать неприязнью, и сердиться, раздражаться при выражении презрения и ненависти. Уже Цицерон сказал: «каждое оскорбление причиняет боль, которую с трудом выносят даже мудрейшие и лучшие люди»; и действительно, решительно никто (за исключением разве некоторых смиренных сект) не переносит хладнокровно брани и побоев. Однако природа наша толкает нас не далее, чем на соответствующее оскорблению возмездие; она не требует вовсе карать смертью за упрек во лжи, в глупости или в трусости; древнегерманская пословица «на оплеуху следует отвечать кинжалом» – это возмутительнейший рыцарский предрассудок. Во всяком случае отвечать или мстить за оскорбление – это дело гнева, а отнюдь не чести и не долга, как это тщатся доказать апостолы рыцарской чести.

Не подлежит сомнению, что упрек оскорбителен лишь постольку, поскольку он справедлив: малейший попавший в цель намек оскорбляет гораздо сильнее, чем самое тяжкое обвинение, раз оно не имеет оснований. Кто действительно уверен, что ни в чем не заслуживает упрека, тот может и будет спокойно пренебрегать ими. Однако принцип чести требует, чтобы он выказал отсутствующую у него восприимчивость к таким упрекам и жестоко мстил бы за оскорбления, которые его нимало не задевают. Очень низкое мнение о своей ценности имеет тот, кто старается заглушить всякое изъявление скептического к ней отношения. Поэтому истинное самоуважение внушает нам отвечать на обиду полным равнодушием, а если это, за недостатком первого, не удастся, то все же ум и воспитание заставят нас выказать внешнее спокойствие и скрыть наш гнев. Если бы удалось отделаться от предрассудка рыцарской чести, так, чтобы никто не мог рассчитывать путем брани отнять честь другого, или восстановить свою; если бы каждая неправда, каждая необузданная, грубая выходка не узаконялась бы готовностью тотчас же дать удовлетворение, т. е. драться – тогда все бы скоро поняли, что, раз дело дошло до брани и оскорблений, то победитель в сущности тот, кто побежден в этой битве; как говорит Винченцо Монти, обиды тем похожи на духовные процессии, что возвращаются туда же, откуда вышли. Тогда не было бы достаточно, как теперь, сказать грубость, чтобы остаться правым; логика и разум получили бы иное значение, чем в наше время, когда, прежде чем заговорить, им приходится справляться, не расходятся ли они с мнениями ограниченных и тупых людей, досаждающих и злящихся на каждом их слове, иначе может случиться, что умную голову придется поставить в карту против головы заядлого тупицы. Тогда духовное превосходство получило бы первенствующее значение в обществе, которое сейчас принадлежит, хотя и негласно, физической силе и «гусарской» лихости, и для лучших людей стало бы одним поводом меньше к тому, чтобы удаляться от общества. Такого рода изменение породило бы настоящий хороший тон, дало бы дорогу настоящему хорошему обществу, такому обществу, какое существовало в Афинах, в Коринфе и Риме. Кто хочет с ним ознакомиться, тому я посоветую прочесть о пире у Ксенофонта.

Последний аргумент в защиту рыцарского кодекса будет, без сомнения, гласить так: «если он будет отменен, то можно будет безнаказанно бить другого». Я отвечаю, что, действительно, это часто случается в 999/1000 того общества, которое не признает этого кодекса, но ведь никто не умирал от этого, тогда как среди его приверженцев каждый удар, по общему правилу, влечет за собою смерть. Впрочем, рассмотрим этот вопрос подробнее.

Я много старался в животной или в разумной природе человека найти подлинную или хотя бы вероятную основу, почву столь прочно утвердившегося в части человеческого общества убеждения в трагическом значении удара; основу, которая не была бы пустым звуком, а могла бы быть выражена точными понятиями; но напрасно. Удар был и остается небольшим физическим злом, которое каждый может причинить другому, чем докажет только, что он более силен или ловок, или что другой не был настороже. Больше анализ не дает ничего. Однако, тот же рыцарь, которому удар человеческой руки кажется величайшим

злом, получив в десять раз более сильный удар от своего коня и еле волочась от отчаянной боли, будет уверять, что это ничего не значит. Тогда я подумал, что все дело в человеческой руке. Однако, ведь от нее же тот же рыцарь получает в бою удары саблей и шпагой и опять-таки уверяет, что и это пустяки, не стоящие внимания. Далее, считается, что удары оружием плашмя далеко не так позорны, как удары палкой, почему еще недавно ими наказывали кадет; наконец, тот же удар при посвящении в рыцари есть величайшая честь. Этим я исчерпал все возможные психологические и моральные причины, и мне остается только счесть этот взгляд за старый вкоренившийся предрассудок, за лишний пример того, как легко внушить людям какую угодно идею. Это подтверждает и тот известный факт, что в Китае ударами бамбука очень часто наказываются не только простые граждане, но и чиновники всех классов; очевидно, что там, несмотря на высокую цивилизацию, человеческая натура не та, что у нас<sup>13</sup>.

Простой трезвый взгляд на натуру человека показывает, что ему так же свойственно драться, как хищным зверям кусаться, рогатым животным – бодаться; человек – «дерущееся животное». Поэтому мы возмущаемся, узнавая о редких случаях, когда один человек укусил другого; получать же удары и наносить их – это событие столь же естественное, сколь обыденное. Что культурные люди охотно избегают этого, сдерживают такие порывы – это легко объяснимо. Но поистине жестоко внушать нации или какому-либо классу, что полученный удар – ужаснейшее несчастье, за которое следует оплачивать убийством. На свете слишком много настоящего зла, чтобы стоило создавать еще и воображаемые бедствия, приводящие уже к реальным. А этого как раз и добивается рассматриваемый глупый и пагубный предрассудок. Я не могу не порицать те правительства и законодательные учреждения, которые потворствуют ему стремлением отменить телесные наказания как для штатских, так и для военных. Они думают при этом, что действуют в интересах гуманности; на самом же деле как раз наоборот: этим путем лишь утверждается противоестественное и пагубное безумие, поглотившее уже столько жертв. При всех проступках, за исключением тяжчайших, прежде всего приходит в голову, а потому и естественнее всего – побить виновного; кто не слушал доводов, тот покорится ударам; умеренно побить того, кого нельзя наказать ни лишением имущества, которого у него не имеется, ни лишением свободы – ибо нужна его работа – это и справедливо и естественно. Против этого можно возражать лишь пустыми фразами о человеческом достоинстве, опирающимися не на точные понятия, а опять же на вышеприведенный гибельный предрассудок. Что в нем и заключается истинная подоплека всего вопроса, это комично подтверждается тем, что еще недавно, в некоторых странах, для военных плеть была заменена особым хлыстом, который хотя и причинял такую же физическую боль, но якобы не унижал и не позорил так, как плеть.

Потворствуя таким образом этому предрассудку, мы поддерживаем рыцарскую честь, а с нею и дуэль, которую, с другой стороны, мы стараемся или делаем вид, что стараемся вывести путем законодательства<sup>14</sup>. Потому-то этот осколок кулачного права, пережиток

---

13 20 или 30 ударов палкой ниже спины – это т. ск. насущный хлеб китайца. Это отеческое внушение мандарина не считается позорным и принимается с благодарностью (*Lettres йdifiantes et curioses*. 1819. Vol. 11. p. 454).

14 Собственно, причина по которой правительства делают вид, что стараются вывести дуэль (чего особенно легко можно было бы достичь в университетах) – и что это им только не удается – лежит в следующем: государство не в силах вполне заплатить деньгами за услуги военных и гражданских служащих; нехваток оно выплачивает в виде почестей, представляемых титулами, орденами, мундирами. Чтобы сохранить за этой идеальной оплатой высокую ценность, необходимо всячески поддерживать чувство чести, обострять его, хотя бы и чрезмерно; так как гражданская честь не достигает этой цели, ибо она имеется решительно у всех, то остается обратиться к чести рыцарской, которую и поддерживают вышеупомянутыми средствами. В Англии, где жалованье военных и гражданских чинов много выше, чем на континенте, в ней нет надобности; поэтому там за последние 20 лет дуэль почти совершенно исчезла, теперь она очень редка и высмеивается всеми; этому много способствовало *Anti-duelling society*, имеющее своими членами много лордов, адмиралов и генералов; по-видимому, жертвы Молоху здесь прекращаются.

дикой Средневековой эпохи и мог сохраниться до 19-го века, и поныне мараю общество; пора бы от него отделаться. Ведь не разрешается же в наше время методическая травля собак или петухов (по крайней мере в Англии такие травли наказуемы). Людей же против их воли втравливают в кровавую битву друг с другом; абсурдный предрассудок рыцарской чести и поклоняющиеся ему представители и апологеты его обязывают людей биться, как гладиаторов, из-за какого-нибудь пустяка. Я предлагаю поэтому немецким туристам вместо слова дуэль – происходящего, вероятно, не от латинского *duellum*, а от испанского *duelo* – горе, жалоба – ввести термин *Ritterhetze* (рыцарская травля). Педантичность, какую обставляется это глупое дело, создает немало комических положений. Но возмутительно то, что этот абсурдный кодекс образует государство в государстве, притом такое, которое, признавая лишь кулачное право, тиранизирует служащие ему классы тем, что устанавливает особое судилище, пред которое каждый может потребовать другого; необходимый повод всегда легко создать; власть этого суда распространяется даже на жизнь обеих сторон. Естественно, что этот суд становится засадой, пользуясь которой гнуснейший человек, если только он принадлежит к известному классу, может грозить, даже убивать благороднейших и лучших людей, ненавистных ему именно за их достоинства. После того, как полиции и судам удалось более или менее добиться того, что разбойники уже не преграждают нам дороги с возгласом: «кошелек или жизнь», – пора и здравому смыслу достичь того, чтобы любой негодяй не смел более смущать наше спокойствие окликом «честь или жизнь». Следует снять с высших классов гнет сознания, что каждый в любой момент может быть вынужден заплатить здоровьем или жизнью за дикость, грубость, глупость или злобу того, кому заблагорассудится выместить их на нем. Возмутительно и позорно, что два молодых, неопытных и вспыльчивых молодых человека, перекинувшись парой резких слов, должны искупить это своею кровью, здоровьем или жизнью. Насколько могуча тирания этого государства в государстве, как велика власть этого предрассудка, показывает то, что нередко люди, лишённые возможности восстановить свою рыцарскую честь из-за слишком высокого или слишком низкого положения, или из-за иных «неподходящих» свойств обидчика, – приходят из-за этого в отчаяние и трагикомически кончают самоубийством.

Всякая ложь и абсурд разоблачаются обычно потому, что в момент апогея в них обнаруживается внутреннее противоречие; оно и в данном случае выступает в виде грубейшей коллизии законов: дуэль воспрещается офицеру, но если он при известных условиях от нее откажется – его лишают офицерского звания.

Раз вступив на путь свободомыслия, я пойду еще далее. Тщательное и беспристрастное рассмотрение показывает, что считающаяся столь важной разница между убийством противника в открытом бою и с равным оружием и убийством из засады вытекает из того, что упомянутое государство признает лишь право сильного – кулачное право – и, возведя его на степень Божьего суда, строит на нем весь свой кодекс. В сущности же, открытый, честный бой показывает только, кто сильнее или ловчее. Оправдывать его можно, лишь допустив предпосылку, что право сильного – воистину право. По существу же, то обстоятельство, что противник не умеет защищаться, дает мне только возможность, но не право убить его; право это, нравственное мое оправдание может основываться лишь на мотивах, по которым я его убиваю. Положим, что мотивы имеются и мотивы уважительные; тогда нет надобности ставить все в зависимость от нашего умения стрелять и фехтоваться: тогда будет безразлично, каким способом я его убью – спереди или с тылу. С моральной точки зрения право сильного несколько не выше права хитрого, применяемого при убийстве из-за угла: право кулака должно быть поставлено наряду с правом хитрости. Замечу, кстати, что в дуэли применяются одинаково и сила, и хитрость; ведь каждый прием – это коварство. Если я считаю нравственным своим правом лишить другого жизни, то глупо стреляться или фехтоваться: противник может оказаться искуснее меня и тогда получится, что оскорбив меня, он же меня вдобавок и убивает. За оскорбление следует мстить не дуэлью, а простым убийством – таков взгляд Руссо, на который он осторожно намекает в столь туманном 21-ом примечании к 4-ой книге Эмиля. Но при этом Руссо так пропитан рыцарским предрассудком,

что даже упрек во лжи считает достаточным основанием для такого убийства; следовало бы знать, что каждый человек, а в особенности сам Руссо, несчетное число раз заслужил этот упрек. Предрассудок, мешающий осуществлению права убивать обидчика в открытом бою на равном оружии, считает кулачное право – подлинным правом, а поединок – Божьим судом. Разгневанный итальянец, кидающийся с ножом на обидчика тут же на месте, без дальнейших разговоров, действует по крайней мере последовательно; он только умнее, но нисколько не хуже дуэлиста. Возражают иногда, что убивая противника в открытом поединке, я имею за собою то оправдание, что и он также старается меня убить, и что с другой стороны мой вызов ставит его в положение необходимой обороны. Указывать на необходимую оборону – значит, в сущности, придумывать благовидный предлог для убийства. Скорее можно оправдаться принципом: «нет обиды при согласии на нее» – при дуэли, дескать, противники по обоюдному соглашению ставят свою жизнь на карту. Но едва ли здесь можно говорить о согласии: деспотический принцип рыцарской чести и весь этот абсурдный кодекс играют здесь роль пристава, приволокшего обоих или, по крайней мере, одного из противников пред это жестокое судилище.

Я пространно исследовал рыцарскую честь, но делал это с добрым намерением, ввиду того, что победить нравственные и умственные несуразности может только философия. – Общественные условия нового времени и древности различаются, главным образом, в двух отношениях, притом не к выгоде нашего общества, получающего суровую мрачную окраску, не омрачавшую веселых, как утро жизни, дней древности. Факторы эти – рыцарская честь и венерические болезни – две равноценные прелести. Ими отравлена вся наша современная жизнь. На самом деле, венерические болезни распространяют свое влияние гораздо дальше, чем это принято думать; болезни эти не только физические, но и моральные. С тех пор, как в колчан Амура попали отравленные стрелы, во взаимные отношения полов вкрался чуждый, враждебный им, некрасивый элемент, проникающий их мрачным, боязливым недоверием; косвенное влияние такого изменения этой первоосновы всякого человеческого общения распространяется, в большей или меньшей степени, и на другие общественные отношения; однако, подробный разбор завлек бы нас слишком далеко.

Аналогичное, хотя и в иной форме, влияние оказывает принцип рыцарской чести, этого трагикомического фарса, неизвестного древним и делающего современное общество натянутым, серьезным, боязливым: ведь каждое мельком сказанное слово ставится в строку. Хуже: – эта честь – Минотавр, которому в жертву приносится из году в год некоторое число юношей из благородных семейств, притом не от одной страны, как встарь, а от всех стран Европы. Пора открыто сразиться с этим миражом, как это здесь и сделано.

Хорошо, если бы оба эти порождения нового времени сгнули бы в XIX веке. Можно надеяться, что с одним справятся врачи при помощи профилактики. Побороть же жупел рыцарской чести – дело философа, который должен правильно осветить его; только этим путем можно пресечь зло в корне; естественно, что это доньше не удавалось правительствам, боровшимся с ним посредством законодательства. Если бы правительства серьезно желали вывести дуэль и незначительный успех их усилий обуславливался только их бессилием, то я бы предложил издать следующий закон, с ручательством за его успех, причем на пришлось бы прибегать к кровавым операциям, к эшафоту, виселице или пожизненному заключению. Мое средство очень мягко и гомеопатично; как вызвавшему, так и принявшему вызов капрал отсчитывает а la Chinois среди бела дня и на открытом месте 12 палочных ударов, секундантам же и посредникам – по 6. Последствия уже совершившейся дуэли рассматриваются как всякое другое уголовное преступление. Пожалуй, иной «рыцарь в душе» возразит, что после такого наказания многие «люди чести» застрелятся. На это я скажу: лучше, если такой болван застрелит себя, чем кого-либо другого.

Я уверен, что в сущности правительства вовсе не стараются вывести дуэль. Жалованье гражданских служащих, а тем паче офицеров (кроме разве высших должностей) гораздо ниже ценности их услуг; и вот остаток уплачивается им в виде чести, представляемой титулами, орденами, и в более широком смысле – в виде сословной чести. Для нее дуэль

служит крайне удобным аппаратом, владеть которым обучают еще в университетах. Так что, в сущности, жертвы дуэли оплачивают своей кровью недостаточность жалования.

Для полноты упомяну еще о национальной чести. Это – честь целого народа, как члена всенародного общества. Так как последнее не знает иного закона, кроме силы, и поэтому каждый его член должен сам отстаивать свои права, то следовательно честь каждой нации состоит в мнении других не только о том, что она заслуживает доверия (кредита), но и о том, что ее следует бояться; для достижения этого она не должна оставлять безнаказанным ни одно покушение на ее права. Словом, честь национальная сочетает в себе честь гражданскую с рыцарской.

Под рубрикой «что мы собою представляем», т. е. чем являемся в глазах света, мы последней отметили славу; теперь рассмотрим ее.

Слава и честь – близнецы, но как из Диоскуров Поллукс был бессмертен, а Кастор – смирен, так и слава – бессмертная сестра смертной чести. Правда, это относится лишь к высшему виду славы, к славе настоящей, истинной: кроме нее бывает еще эфемерная, кратковременная слава. Далее, честь обуславливается теми свойствами, какие требуются от каждого, находящегося в тех же условиях; слава же – теми, которых ни от кого нельзя требовать; честь покоится на свойствах, которые каждый открыто может себе приписать, слава же – на таких, которые никто сам себе приписывать не может. Наша честь не хватает далее наших личных знакомых: слава же, наоборот, опережает всякое знакомство и сама его устанавливает. На честь претендует каждый, на славу – лишь исключения, и приобретает она исключительными действиями. Действия эти могут быть или деяниями (That) или творениями (Werk); сообразно с этим к славе два пути. Путь деяний открывается нами преимущественно великим сердцем; путь творений – умом. Каждый из этих двух путей имеет свои выгоды и невыгоды. Главная разница их в том, что деяния преходящи, творения же – вечны. Благороднейшее деяние оказывает лишь временное влияние; гениальное же творение живет вечно, действуя благотворно и возвышающим образом на людей. От деяний остается лишь память, которая постепенно слабеет, искажается, охладевает и со временем должна рухнуть, если история не подхватит ее, не закрепит и не передаст потомству. Напротив, творения бессмертны сами по себе и живут вечно, особенно, если они увековечены в письменах. От Александра Великого остались лишь имя да память, тогда как Платон, Гомер, Гораций сами живут среди нас и непосредственно на нас влияют. Ведь и Упанишады в наших руках, о деяниях же, совершенных в их эпоху, до нас не дошло никаких известий<sup>15</sup>.

Другая невыгода деяний – это их зависимость от случая, который один может дать возможность совершить их; к этому надо прибавить, что слава, ими приобретаемая, обуславливается не только их внутренней ценностью, но и условиями, сообщающими деяниям важность и блеск. К тому же, если, напр., на войне деяния носят чисто личный характер, то слава зависит от показаний немногих очевидцев; их иногда совсем нет, иногда они несправедливы и пристрастны. Однако за деяниями та выгода, что они, как нечто практическое, доступны суждению всех людей; поэтому, если обстоятельства верно переданы, их оценят по достоинству, кроме разве тех случаев, когда их истинные мотивы узнаются и оцениваются лишь позднее; ведь чтобы понять действие, необходимо знать его

---

15 Поэтому очень плохой комплимент называть творение, как это ныне в моде, деянием – That. Творения принадлежат к высшей категории. Деяние всегда вытекает, строится на каком-либо мотиве, а поэтому всегда обособлено, преходяще и свойственно универсальному, исконному элементу мира – воле. Великое, прекрасное творение, как имеющее всеобщее значение есть нечто постоянное, создается невинным, чистым разумом, поднимающимся как роса над низким миром воли. Слава деяний имеет ту выгоду, что обычно она сразу вспыхивает и иногда столь ярко, что в мгновение расходитя по всей Европе; слава же творений возникает медленно, постепенно, сперва тихо, потом уже громче и достигает апогея часто через 100 лет, но тогда она уже способна утвердиться (– т. к. сами творения живы –) на целые тысячелетия. Напротив, слава деяний, как только минует первая вспышка, постепенно слабеет, сфера ее все суживается и под конец от нее остается в истории лишь какой-то дымок.

МОТИВЫ.

Иначе обстоит дело с творениями; их возникновение не зависит от случая, а только от их автора, и они навеки остаются тем, чем являются сами по себе. Трудность заключается в их оценке, и трудность эта тем значительнее, чем выше творения; часто для них не находится компетентных, беспристрастных или честных судей. Но зато их слава решается не в одной инстанции; здесь имеет место апелляция. Тогда как от деяний доходит до потомства лишь память, и притом в том виде, в каком ее передали современники, – творения сами доживают до будущего, притом в истинном своем виде, если не считать исчезнувших отрывков. Извращение здесь немыслимо; даже невыгодное влияние среды – свидетельницы их появления – исчезает впоследствии. Часто именно время дает немногих компетентных судей, которые, будучи сами исключениями, должны вершить договор над еще большими исключениями; последовательно высказывают они свое мнение, и так создается, правда, иногда, лишь после целых столетий, вполне справедливая оценка, которую уже ничто не изменит. Дождется ли сам автор славы, – это зависит от внешних условий и от случая, и случается это тем реже, чем его творения выше и труднее. Сенека (ep. 79) справедливо сказал, что заслугам столь же неизменно сопутствует слава, как телу – его тень, хотя, как тень, она следует то впереди их, то за ними. Пояснив это, он прибавляет: «если все современники замалчивают нас из зависти, все же явятся другие, которые без пристрастия воздадут нам должное»; – по-видимому, искусство затирать заслуги путем замалчивания и игнорирования, с целью скрыть все хорошее от общества, – практиковалось негодьями времен Сенеки не хуже, чем нынешними; и тем, и другим одинаково закрывала рот зависть.

– Обычно, чем позже приходит слава, тем она прочнее. Слава, переживающая автора, подобна дубу, растущему очень медленно: слава легковесная, эфемерная – однолетним, быстро растущим растениям, и наконец, ложная слава – быстро появляющейся сорной траве, которая так же скоро будет выколота. Это явление обуславливается тем, что чем больше человек принадлежит потомству, т. е. всему человечеству, тем более он чужд своей эпохе, ибо все его творчество посвящено не специально ей, не его современникам, как таковым, а лишь как части всего человечества, почему и не окрашено местным оттенком; в результате современники часто даже не замечают его. Люди ценят скорее те творения, которые служат злобе дня и капризу момента, а потому и всецело принадлежат им, с ними живут, с ними и умирают. Сообразно с этим история искусств и литературы показывает на каждом шагу, что высшие произведения человеческого духа вначале подвергаются опале и пребывают в ней, пока не появятся высшие умы, на которых эти творения рассчитаны, открывающие их ценность, которая под эгидой их имен, прочно утверждается навсегда. Первичная основа всего этого та, что каждый может, в сущности, понимать и ценить лишь сродное ему, (гомогенное). Для тупицы сродным будет все тупое, для негодяя – все низкое, для невежды – все туманное, и для безголового – все абсурдное; больше же всего человеку нравятся его собственные произведения как вполне ему сродные. Еще древний баснописец Эпихармос пел: «Не удивительно, что я по-своему веду речь; ведь каждый нравится сам себе и считает себя достойнейшим; так собаке лучшим из существ кажется собака, быку – бык, ослу – осел, свинье – свинья».

Даже сильнейшая рука, бросая легкое тело, не может сообщить ему той скорости, какая нужна, чтобы оно далеко пролетело и произвело сильный удар; тело бессильно упадет тут же невдалеке, так как в нем недостаточно собственной массы, которая могла бы воспринять постороннюю силу. То же происходит с прекрасными, высокими идеями, с лучшими творениями гения, если они воспринимаются слабыми, бледными, уродливыми мозгами. На это в один голос сетуют мудрецы всех времен. Иисус, сын Сирахов, говорит: «кто беседует с глупцом, беседует со спящим. Когда он кончает, тот спрашивает: как? что?». В «Гамлете» находим «живая речь спит в ушах дурака». Приведу слова Гете:

«Das glücklichste Wort, es wird verhöhnt Wenn der Hörer ein Schiefuhr ist" <sup>16</sup>.

И в другом месте:

«Du wirkst nicht, Alles bleibt so stumpf, Sei guter Dinget Der Stein im Sumpf Macht keine Ringe"<sup>17</sup>.

Лихтенберг заметил: «Если при столкновении головы с книгой раздается пустой звук, то всегда ли это – звук книги?» и далее: «творение есть зеркало; если в него смотрит обезьяна, оно не будет отражать апостольского лика». Стоит привести еще прекрасную трогательную жалобу поэта Геллерта: «Как часто наивысшие блага находят меньше всего почитателей, и большинство людей считают добром то, что на самом деле зло; это мы наблюдаем ежедневно. Как покончить с этим? Я сомневаюсь, чтобы вообще когда-либо удалось покончить с этим злом. Правда, есть одно средство к этому, но оно невероятно трудное: надо, чтобы глупцы стали мудрыми, но ведь этого никогда не случится. Им неизвестна ценность вещей, о которой они судят не умом, а глазами; постоянно хвалят они ничтожества, ибо ничего хорошего они не знали».

К этой умственной несостоятельности людей, вследствие которой, по выражению Гете, прекрасное признается и ценится еще реже, чем встречается, – присоединяется, как впрочем и всегда, нравственная испорченность, проявляющаяся в зависти. Ведь слава, приобретенная человеком, воздымает его над всеми остальными и настолько же понижает каждого другого; выдающаяся заслуга всегда удостоивается славы за счет тех, кто ни в чем не отличился. Гете говорит:

«Чтобы честь другим воздать, Себя должны мы развенчать».

Отсюда понятно, почему, в какой области ни появилось нечто прекрасное, тотчас же все многочисленные посредственности заключают между собой союз с целью не давать ему хода, и если возможно – погубить его. Их тайный лозунг: – «a bas le mérite» – долой заслуги. Но даже те, кто сами имеют заслуги и ими добыли себе славу, без удовольствия встречают возникновение чьей-либо новой славы, лучи которой заставят отчасти померкнуть их собственный блеск. Гете говорит:

«Hdtt ich gezaudert zu werden Bis man mir's Leben gegunnt, Ich wdre noch nicht auf Erden Wie ihr begreifen künnt, Wenn ihr seht, wei sich geberden, Die um etwas zu scheinen, Mich gerne mächten verneinen"<sup>18</sup>.

Тогда как честь, по общему правилу, находит справедливых судей, не вызывает зависти, и ее признают за каждым, уже заранее в кредит, – славу приходится завоевывать, сражаясь с завистью, причем трибунал, присуждающий лавровый венок, состоит из крайне неблагоприятных судей. Мы можем и согласны разделять честь с каждым, слава же уменьшается, или становится менее достижимой после каждого нового случая ее приобретения.

Трудность создать славу путем творений по легко уяснимым причинам обратно пропорциональна числу людей, составляющих «публику» этих творений. Трудность эта гораздо значительнее при творениях поучающих, нежели при тех, которые созданы ради развлечения. Труднее всего приобрести славу философскими произведениями; обещаемое ими знание с одной стороны недостоверно, с другой – не приносит материальной выгоды; поэтому они известны вначале лишь соперникам, т. е. тем же философам. Эта масса препятствий на пути к их славе показывает, что если бы авторы гениальных творений создавали бы их не из любви к ним самим, не для собственного удовлетворения ими, а нуждались бы в поощрении славы, – человечество редко или совсем не видело бы

---

17 Ты не можешь ничего поделать с окружающей тебя тупостью! Но не волнуйся напрасно, ведь камень, брошенный в болото, не производит кругов.

18 Если бы, прежде чем родиться, я желал бы, чтобы мне даровали жизнь – то я и поныне не жил бы на этом свете: это станет понятным, если взглянуть, как неистовствуют те, кто готов отрицать меня, лишь бы самим казаться хоть какой-нибудь величиной.



бессмертных произведений. Тот, кто стремится дать нечто прекрасное и избежать всего дурного должен пренебречь суждением толпы и ее вожаков, а следовательно, презирать их. Справедливо заметил Озорий (de gloria), что слава бежит от тех, кто ее ищет, и следует за теми, кто ею пренебрегает: первые подлаживаются к вкусам современников, вторые же не считаются с ними.

Насколько трудно приобрести славу, настолько же легко ее сохранить. И в этом отношении слава расходится с честью. Честь признается за каждым, в кредит; остается лишь хранить ее. Но это не так-то легко: единственный скверный поступок губит ее навеки. Слава же в сущности никогда не теряется, так как вызвавшее ее деяние или творение всегда остается в силе, а слава, приобретенная их автором, сохраняется за ним даже и в том случае, если он ничем больше не отличится. Если слава померкла после его смерти, – значит, она была ненастоящей, незаслуженной, возникшей лишь благодаря временному ослеплению; такова, напр., слава Гегеля, про которую Лихтенберг говорит, что она «громко провозглашена армией друзей и учеников и подхвачена пустыми головами; как рассмеется потомство, когда, постучавшись в этот пестрый храм болтовни, в красивое гнездо отжившей моды, в жилище вымерших условностей, найдет все это пустым, не отыщет ни одной, хотя бы мельчайшей мысли, которая сказала бы им „Войдите!“».

В сущности слава основывается на том, чем является данный человек по сравнению с другими; следовательно, она есть нечто относительное и имеет лишь относительную ценность. Она вовсе исчезла бы, если бы все стали такими же, как знаменитый человек. Ценность абсолютна лишь тогда, если она сохраняется при всяких условиях; такова ценность человека «самого по себе»; в этом, следовательно, и должны заключаться ценность и счастье великого сердца и ума. Поэтому ценна не слава, а то, чем она заслужена; это сущность, а сама слава – лишь придаток; она и является для ее носителя преимущественно внешним симптомом, лишь подтверждающим собственное его высокое о себе мнение. Как свет не виден, если он не отражается каким-либо телом, так и достоинство может уверовать в себя лишь через посредство славы. Но она – не безошибочный симптом, ибо бывают заслуги без славы и слава без заслуг. Лессинг удачно выразился: «одни бывают знаменитыми, другие заслуживают этого». Да печально было бы существование, ценность которого зависела бы от чужой оценки; но ведь именно таким была бы жизнь героя или гения, если бы ценность их обуславливалась славой – т. е. чужим одобрением. Каждое существо живет ради себя, в себе и для себя. Чем бы человек ни был, тем он является прежде всего и преимущественно для самого себя; если в этом отношении он малоценен, то и вообще он немногого стоит. Наш образ в чужом представлении есть нечто второстепенное, производное и подчиненное случаю, лишь косвенно и слабо связанное с самим нашим существом. К тому же, головы людей – слишком жалкие подмости, чтобы на них могло зиждиться истинное счастье; здесь можно найти лишь призрак его.

– Сколь смешанное общество собирается в храме славы! Полководцы, министры, шарлатаны, певцы, миллионеры, жида... и достоинства всех этих господ оцениваются гораздо беспристрастнее и уважаются больше достоинств духовных, особенно высших категорий, которые ценятся толпой лишь «sur parole» – со слов других. Итак, с эвдемонологической точки зрения, слава есть не более, как редкий, лакомый для гордости и тщеславия кусочек. Как ни стараются люди скрыть эти свойства, все большинство наделено ими в избытке, больше всего, пожалуй, те, у кого есть истинные данные для того, чтобы прославиться, и кто, долго не решаясь окончательно уверовать в свою высокую ценность, пребывают в этой неизвестности, до тех пор, пока не придет случай испытать свои достоинства и добиться их признания; до тех же пор им кажется, что к ним относятся несправедливо<sup>19</sup>. Вообще же, как указано в начале этой главы, ценность, придаваемая

---

19 Так как наше величайшее удовольствие состоит в том, чтобы нами восхищались, а люди восхищаются другими, даже если это заслужено, крайне неохотно – то наиболее счастлив тот, кто так или иначе научился восхищаться сам собою. Только бы другие не разочаровывали его!

человеком мнению о нем других, несоразмерно велика и неразумна. Гоббс весьма резко, но в конце концов, правильно выразил это словами: «все наши духовные радости и удовольствия вытекают из того, что сравнивая себя с другими, мы выносим лестное для себя заключение» (de cive, I, 5). Этим объясняется та высокая ценность, какая всеми придается славе, а также жертвы, приносимые в надежде когда-нибудь ее удостоиться. «Слава – последняя слабость благородных людей – есть то, что побуждает выдающиеся умы пренебрегать наслаждениями и жить трудовую жизнью»; и в другом месте: «как трудно взобраться на высоты, где сияет гордый храм славы».

Вот почему объясняется, почему тщеславнейшая из наций так полюбила слово «la gloire» и видит в славе главную побудительную причину великих дел и великих творений.

Так как эта слава есть, бесспорно, нечто производное, – эхо, отражение, тень, симптом заслуг, а так как во всяком случае объект ценнее самого восторга, то, следовательно, источник славы заключается не в славе, а в том, чем она добыта, т. е. в самих заслугах или, выражаясь точнее, в характере и свойствах, из коих вытекли эти заслуги, быть это свойства моральные или интеллектуальные. Лучшим, чем может быть человек, он должен быть для самого себя; как это отразится в головах других, чем он окажется в их мнении, – это неважно и должно представлять для него лишь второстепенный интерес. Потому тот, кто только заслужил, хотя бы и не приобрел славы, – обладает главным, и это главное должно утешить его в отсутствии того, что неважно. Человек достоин зависти не за то, что нерассудительная, часто одураченная толпа считает его великим, а за то, что он действительно велик; не в том счастье, что его имя дойдет до потомства, а в том, что он высказывал мысли, достойные того, чтобы их хранили, и о них раздумывали столетиями. К тому же, этого нельзя отнять у человека. – Если бы главным был сам восторг, то тогда объект его был бы недостойн одобрения. Так и бывает при ложной, т. е. незаслуженной славе. Человек наслаждается ею, хотя в то же время обладает в действительности теми данными, симптомом и отражением коих она является. Такая слава приносит иногда горькие минуты, если, несмотря на вытекающий из себялюбия самообман, у человека закружится голова на той высоте, для которой он не создан, или же усомнится в своей ценности, вследствие чего его охватит страх быть разоблаченным и пристыженным по заслугам, в особенности, если на лице мудрейших он прочтет предстоящий приговор потомства. Он подобен владельцу по подложному духовному завещанию. Человек никогда не может познать истинной – посмертной славы, и все же он кажется счастливым. Это лишний раз подтверждает, что счастье его заключается в высоких достоинствах, доставивших ему славу, и в том еще, что у него была возможность рационально использовать свои силы и заниматься тем, к чему есть склонность или любовь; только из любви вылившиеся творения удостаиваются прочной славы. Счастье заключается, следовательно, в величии души или в богатстве ума, отпечаток которого в творениях восхищает грядущие века; – в тех идеях, задумываться над которыми будет наслаждение для величайших умов беспредельного будущего. Ценность посмертной славы в том, чем она заслужена; в этом же и ее награда. Будут ли творения, приобретшие вечную славу, признаны их современниками, – это зависит от случайных обстоятельств и несущественно. Так как по общему правилу люди не имеют своего мнения и к тому же лишены возможности ценить великие произведения, то им приходится слушаться голоса вожаков, и в 99 случаях из 100 – слава зиждется просто на доверии к чужому авторитету. Поэтому одобрение хотя бы огромного большинства современников ценится мыслителем весьма невысоко, так как эти аплодисменты – всего лишь эхо немногих голосов, причем и эти последние зависят от настроения минуты. Едва ли бы одобрение публики польстило виртуозу, если бы он узнал, что за исключением одного или двух, все остальные глухи, и желая скрыть друг от друга свой порок, старательно хлопают ему, как только увидят, что захопал единственный слышащий, то вдобавок эти заправила часто берут взятки за то, чтобы устроить шумную овацию какому-нибудь прежалкому скрипачу. Отсюда понятно, почему слава так редко сохраняется после смерти; д'Аламбер в своем великолепном описании храма литературной славы говорит: «В храме этом живут мертвецы, которые не были тут при жизни, да еще

несколько живых, из которых большинство будет отсюда удалено после смерти». Кстати замечу, что ставить кому-либо памятник при жизни значит объявить, что нет надежды на то, что потомство его не забудет. Если же кто-либо и удостоивается славы, которая не умрет с ним, то это редко случается раньше, чем на склоне лет; исключения из этого правила бывают среди художников и поэтов, среди же философов – почти никогда. Правило это подтверждается тем, что портреты людей, прославившихся своими творениями, появляются обычно лишь после того, как упрочится их известность; их изображают большею частью – в особенности если это философы – старыми и седыми. С точки зрения эвдемонической это вполне правильно. Слава и молодость – то слишком много для смертного. Наша жизнь так бедна, что блага приходится распределять экономнее. Молодость и так достаточно богата сама по себе и должна этим довольствоваться. К старости же, когда все желания и радости умирают, как деревья зимой – как раз время для вечнозеленого дерева славы; его можно уподобить поздним грушам, зреющим летом, но годным в пищу лишь зимою. Нет лучшего утешения в старости, как сознание, что удалось всю силу молодости воплотить в творения, которые не стареют, подобно людям.

Рассматривая еще подробнее пути, ведущие к славе в наиболее близкой для нас – научной области, можно подметить следующее правило. Умственное превосходство ученого, о котором свидетельствует его слава, каждый день подтверждается новой комбинацией тех или иных известных данных. Эти данные могут быть крайне разнообразны; слава, приобретаемая их комбинированием, будет тем больше, тем распространеннее, чем известнее, чем доступнее каждому сами данные. Если это какие-нибудь числа, кривые или какие-либо специальные физические, зоологические, ботанические или анатомические явления, искаженные отрывки древних авторов, полустертые надписи или такие, к которым нет ключа, темные вопросы из области истории – то слава, приобретенная правильным комбинированием таких данных, едва ли распространится далее круга лиц, знакомых с самими данными, едва ли выйдет за пределы незначительного числа ученых живущих обычно в уединении и завидующих всякому, прославившемуся по их специальности. Если же данные известны всему роду человеческому, если это, напр., существенные и всем присущие свойства человеческого разума, характера, если это силы природы, действие которых постоянно нами наблюдается, вообще общеизвестные процессы в природе, то слава того, кто осветил их новой, важной и правильной комбинацией, со временем распространится на весь цивилизованный мир. Если доступны сами данные, то и комбинации их будут, вероятно, столь же доступны.

При этом слава будет, однако, всегда зависеть от трудностей, какие пришлось преодолеть. Ибо, чем данные известнее, тем труднее скомбинировать их на новый и все-таки верный лад, ведь над этим старалось огромное число людей, исчерпавших, по-видимому, все возможные их комбинации. Напротив, данные недоступные широким массам и требующие долгого и тяжелого изучения, допускают почти всегда новые комбинации; если поэтому к ним подойти со здравым смыслом и с трезвым рассудком, т. е. с умеренным умственным превосходством, то весьма вероятно, что посчастливится найти новую и правильную комбинацию их. Зато и добытая этим путем слава ограничится приблизительно лишь теми, кто знаком с самими данными. Правда, при решении таких проблем требуется большая эрудиция и труд, для того только, чтобы усвоить одни данные, – тогда как на первом пути, обещающем наиболее широкую и громкую известность, эти данные открыты и видны всякому, но чем меньше здесь требуется труда, тем более необходим талант, даже гений, с которым в смысле ценности и уважения людей не сравнится никакой труд.

Отсюда следует, что те, кто чувствуют в себе трезвый разум и способность к правильному мышлению, но притом не знают за собой высших умственных достоинств, не должны отступать пред усидчивым, тяжелым трудом, посредством коего они выделяются из огромной толпы людей, знакомых с общеизвестными данными, и достигнуть тех глубин, какие доступны лишь труженику-ученому. Здесь, где соперников чрезвычайно мало, всякий хоть сколько-нибудь пылливый ум непременно найдет возможность дать новую и

правильную комбинацию данных, причем достоинство его открытия повысится трудностью добыть эти данные. Но до широкой массы дойдет лишь слабый отголосок приобретенных этим путем аплодисментов соратников по данной науке, которые только и компетентны в ее вопросах.

Если до конца проследовать по намеченному здесь пути, то окажется, что иногда одни данные, в виду огромной трудности добыть их, сами по себе, без того, чтобы прибегать к комбинированию их, могут доставить славу. Таковы, напр., путешествия в далекие и малопосещаемые страны: путешественник удостоивается славы, за то, что он видел, а не за то, как он мыслил. Значительное преимущество этого пути еще и в том, что гораздо легче передать другим, и сделать им понятным то, что довелось видеть, чем то, о чем размышлять; в связи с этим и публика гораздо охотнее читает первое, чем второе. Уже Асмус говорил: «кто совершил путешествие – тот много может порассказать». Однако, при личном знакомстве со знаменитостями этого сорта легко может придти на ум замечание Горация: «переехав море, люди меняют только климат, но не душу (Epist. I, II, V. 27).

Человек, наделенный высокими умственными дарованиями, с которыми только и можно браться за решение великих проблем, касающихся общих, мировых вопросов и поэтому крайне сложных, – не проиграет, конечно, если станет по возможности расширять свой кругозор, но он должен делать это равномерно, по всем направлениям, не забираясь слишком далеко в специальные, а потому лишь немногим доступные области; он не должен зарываться в специальные отрасли отдельных наук, а тем паче увлекаться мелкими деталями. Для того, чтобы выделиться из среды соперников, ему нет надобности заниматься мало кому доступными предметами; именно то, что открыто для всех, дает ему материал к новым и правильным комбинациям. Поэтому-то и заслуга его будет признана всеми теми, кому известны эти данные, т. е. большей частью человечества. Вот на чем основано крупное различие между славой поэта и философа и той, какая выпадает на долю физика, химика, анатома, минералога, зоолога, историка и т. д.

## **Глава пятая. ПОУЧЕНИЯ И ПРАВИЛА**

Меньше, чем где-либо, я претендую здесь на полноту: иначе мне пришлось бы повторить массу превосходных житейских правил, преподанных мудрецами разных времен, начиная с Феогида и псевдо-Соломона и кончая Ларошфуко, причем нельзя было бы избежать многих испошленных общих мест. Отказавшись от полноты, приходится отказаться и от строгой системы. Советую утешаться тем, что при соблюдении этих двух требований подобные очерки выходят почти всегда скучными. Я буду излагать лишь то, что мне пришло на ум, показалось заслуживающим сообщения, и что, насколько мне не изменяет память, не было еще сказано, или, если и было, то не совсем так; я только подбираю колосья на необозримом, другими до меня сжатом, поле.

Желая, однако, хоть сколько-нибудь упорядочить богатое разнообразие приводимых здесь взглядов и советов, я разделяю их на общие и на касающиеся нашего отношения, во-первых, к себе, во-вторых, к другим, и, в-третьих, к общим мировым событиям и к судьбе.

### **А. Правила общие**

1) Первой заповедью житейской мудрости я считаю мимоходом высказанное Аристотелем в Никомаховой этике (XII, 12) положение, которое в переводе можно формулировать следующим образом: «Мудрец должен искать не наслаждений, а отсутствия страданий». Верность этого правила основана на том, что всякое наслаждение, всякое счастье есть понятие отрицательное, страдание же – положительно. Этот последний тезис развит и обоснован мною в моем главном труде (т. I, § 58). Здесь я поясню его только

одним, ежедневно наблюдаемым фактом. Если все тело здорово и невредимо, кроме одного слегка пораненного или вообще больного местечка, то здоровье целого совершенно пропадает для нашего сознания, внимание постоянно направлено на боль в поврежденном месте и мы лишаемся наслаждения, доставляемого нам общим ощущением жизни. – Точно так же, если все происходит по нашему желанию, кроме одного обстоятельства, нам нежелательного, то это последнее, как бы незначительно оно ни было, постоянно приходит нам в голову; мы часто думаем о нем и редко вспоминаем о других, более важных событиях, отвечающих нашим желаниям. В обоих случаях повреждена воля, объективирующаяся в первом случае – в организме, во втором – в стремлении человека; в обоих случаях удовлетворение ее имеет лишь отрицательное действие, а потому и не ощущается непосредственно, а разве только путем размышления проникает в наше сознание; наоборот – всякое поставленное воле препятствие

– позитивно и само дает себя чувствовать. Всякое наслаждение состоит в уничтожении этих препятствий, в освобождении от них, а потому длится недолго.

Вот, следовательно, на чем основан вышеприведенный тезис Аристотеля, советующий обращать внимание не на наслаждения и радости жизни, а лишь на то, чтобы избежать бесчисленных ее горестей. Иначе Вольтеровское изречение «счастье – греза, реально лишь страдание» было бы столь же ложно, сколь оно на самом деле справедливо. Поэтому, желая подвести итог своей жизни с эвдемонической точки зрения, следует строить расчет не на испытанных нами радостях, а на тех страданиях, которых удалось избежать. Вообще, эвдемонологию следовало бы начинать с оговорки, что не наименование – гипербола, что под «счастливой жизнью» надо понимать «наименее несчастную», «сносную» жизнь. Жизнь дается не для наслаждения ею, а для того, чтобы ее перенести, «отбыть»; на это указывают обороты речи вроде «degere vitam, vita, defungi», итальянского «si scampa cosi», немецкого «man muss suchen durchzukommen», «er wird schon durch die Welt kommen» и т. д. Старость даже утешается тем, что весь жизненный труд уже позади. Счастливейшим человеком будет тот, кто провел жизнь без особенных страданий, как душевных, так и телесных, а не тот, чья жизнь протекла в радостях и наслаждениях. Кто этим последним измеряет счастье своей жизни, тот выбрал неверный масштаб. Ведь наслаждения – всегда отрицательны; лишь зависть может внушить ложную мысль, что они дают счастье. Страдания, напротив, ощущаются положительным образом; поэтому критерий жизненного счастья – это их отсутствие. Если к беспечальному состоянию присоединится еще отсутствие скуки, то в главных чертах земное счастье достигнуто; все остальное – химера. Отсюда следует, что не должно никогда покупать наслаждения ценой страданий или даже ценой риска нажать их; ведь это значило бы ради отрицательного, ради химеры пожертвовать положительным и реальным; и наоборот, мы выигрываем, жертвуя наслаждениями для того, чтобы избежать страданий. В обоих случаях безразлично, предшествует ли страдание наслаждению или следует за ним. Нет худшего безумия, как желать превратить мир – эту юдоль горя – в увеселительное заведение и вместо свободы от страданий ставить себе целью наслаждения и радости; а очень многие так именно и поступают. Гораздо меньше ошибается тот, кто с преувеличенной мрачностью считает этот мир своего рода адом и заботится поэтому лишь о том, как бы найти в нем недоступное для огня помещение. Глупец гоняется за наслаждениями и находит разочарование; мудрец же только избегает горя. Если ему и это не удалось, значит, виноват не он, не его глупость, а судьба. Если же это хоть сколько-нибудь удастся, то разочарования ему нечего бояться: страдания которых он избег, всегда останутся вполне реальными. Даже если он, избегая их, слишком уклонился в сторону и даром пожертвовал несколькими наслаждениями, то и тогда он, в сущности, не потерял ничего: все радости – призрачны, и горевать о том, что они упущены – мелко, даже смешно.

Обусловленное оптимизмом непонимание этой истины будет служить источником многих несчастий. А именно, в минуты, свободные от страданий, нам мерещится призрак вовсе не существующего счастья и соблазняет нас следовать за ним; в результате – бесспорно реальное страдание. Тогда мы начинаем горевать о минувшем, свободном от горя

состоянии, лежащем, как потерянный рай, позади нас, напрасно желаем изменить совершившееся. Словно какой-то злой демон обманчивыми химерами желаний постоянно выводит нас из того беспечального состояния, в котором только и есть высшее, истинное счастье, которое ускользает лишь от тех, у кого не хватает умения им овладеть. В этом мнении его укрепляют романы и стихи, а также и то лицемерие, с каким люди всегда и всюду заботятся о внешности, о наружной видимости, к чему я скоро еще вернусь. Его жизнь – это более или менее рассудительно организованная охота за положительным счастьем, состоящим из положительных наслаждений. Он дерзко бравирует опасностями, грозящими ему на этом пути. Эта охота за дичью, которой в действительности не существует, приводит обычно к весьма реальным, положительным бедам, выражающимся в боли, страданиях, болезнях и потерях, заботах, бедности, позоре и в тысяче неприятностей. Является разочарование – но слишком поздно.

Если, в согласии с рассмотренным выше правилом, вся жизнь строится на том, как бы уберечься от страданий, т. е. устранить нужду, болезни и всякие неприятности, то такая цель – реальна и в известной мере достижима, притом, тем более, чем менее этому плану будет мешать погоня за призраком положительного счастья. В подтверждение этому Гете, в *Wahlverwandschaften* говорит устами Миттлера, вечно хлопочущего о чужом счастье: «Кто хочет избавиться от горя, тот всегда знает, чего ему надо; тот же, кто хочет лучшего, чем у него есть, – тот слеп на оба глаза». Это напоминает прекрасную французскую пословицу «*le meïux est l'ennemi du bien*»<sup>20</sup>. Отсюда же может быть выведена основная идея цинизма, разобранный в моем главном труде (т. II, гл. 16). Ибо, что побуждало циников отказываться от наслаждений, как не мысль о страданиях, сопровождающих их или тотчас же или впоследствии; для циников важнее было избежать горя, чем найти наслаждения. Их пронизало сознание отрицательности наслаждения и положительности страданий; поэтому, вполне последовательно, они делали все, чтобы избавиться от них и для этого считали необходимым отказаться от наслаждений, казавшихся им тенетами, отдающими людей во власть страданий.

Правда, как говорит Шиллер, все мы родились в Аркадии, т. е. вступаем в жизнь с ожиданием счастья и наслаждения и питаем безумную надежду достичь их; однако, в дело вмешивается судьба, грубо хватая нас за шиворот и показывает, что мы не властны ни над чем, а всем правит она; что она имеет неоспоримые права не только на наше имущество и богатство, но и на жену и детей наших, на наши руки и ноги, глаза и уши, даже на наши носы. Во всяком случае приобретаемый со временем опыт дает нам понять, что счастье и наслаждение – фата-моргана, видимая издали, но исчезающая как только к ней приблизишься; что, напротив, страдание и боль вполне реальны, непосредственно и без приглашения посещают нас, – не допуская никаких иллюзий на свой счет. Если эта истина привилась, мы перестанем гоняться за счастьем и наслаждениями и гораздо больше заботимся о том, как бы по возможности уклониться от боли и страданий. Тогда мы начинаем сознавать, что лучшее в этом мире – это беспечальное, спокойное и сносное существование и, ограничивая этим свои притязания, тем вернее осуществляем их. Вернейшее средство не быть очень несчастным – не требовать большого счастья. Так думал и друг юности Гете – Мерк, писавший: «бессмысленная претензия на счастье, притом на ту дозу его, о которой мы мечтаем, – вредит нам во всем. Кто отделается от этого и не будет желать ничего, кроме того что ему доступно, тот проживет недурно» (*Briefe an und von Merck*, S. 100). Поэтому следует сокращать свои притязания на наслаждения, на богатство, на чин и почет до весьма умеренных размеров, так как стремление и борьба за счастье, за блеск и почет влекут за собой величайшие несчастья. Это уже и потому желательно и благоразумно, что очень легко стать весьма несчастным; стать же вполне счастливым не только трудно, но и вовсе невозможно. Вполне прав поэт житейской мудрости (Гораций, ода

10: «Auream quis quis mediocritatem») : «Кто избрал золотую середину, тот не ищет отдыха ни в жалкой хижине, ни в дворцах, возбуждающих зависть в других. Ветер сильнее потрясает огромные сосны, высокие башни рушатся с большей силой, и молния чаще ударяет в вершины гор».

Кто вполне проникся моим философским учением и знает, что наше бытие таково, что лучше бы его совсем не было, и что величайшая мудрость заключается в отрицании, в отказе от него, тот не будет ожидать многого ни от какого предмета, ни от какого обстоятельства, ни к чему не станет страстно стремиться и не будет жаловаться на крушение своих планов; он вполне присоединится к словам Платона (ep. X, 604): «ничто в мире не заслуживает больших усилий», а также к словам поэта Anwari Soheili «Разбита власть твоя над миром – не печалься: это – ничто. – Приобрел ты власть над миром – не радуйся этому: и это – ничто. Приходят и счастье и горе – пройди и ты мимо мира: мир – ничто».

Усвоение такого спасительного взгляда особенно затрудняется вышеупомянутым лицемерием людей, которое следовало бы пораньше раскрывать юношеству. Большинство так называемых благ – лишь пустая внешность, вроде декорации; сути в них нет никакой. Таковы, напр., расцвеченные и разукрашенные корабли, пушечные салюты, иллюминации, трубы и барабаны, крики ликования и т. п. Все это – лишь вывеска, символ, иероглиф радости; самой же радости обыкновенно нет при этом; она одна не участвует в празднике. Где она действительно бывает, там большей частью является без приглашения и без доклада, сама собою, *sons fazon*; иной раз она прокрадывается молча, часто под незначительнейшим, пустым предлогом, при самой обыденной обстановке, и далеко не всегда при блестящих, громких событиях. Она, как золото в Австралии, рассыпана то тут, то там, рассыпана прихотью случая, без правил и законов, обычно мельчайшими крупичками и очень редко в значительных массах. – Цель всех только что упомянутых манифестаций единственно в том, чтобы уверить других в собственной радости: все это делается ради видимости, ради чужого мнения. С печалью дело обстоит так же как и с радостью. Как грустно движется длинная и медлительная похоронная процессия! Каретам нет конца. Но загляните в них – все они пусты, и усопшего провожают в сущности одни лишь кучера. Разительный образчик дружбы и уважения мира сего! Такова фальшь, пустота и лицемерие людское.

Другой пример: масса приглашенных гостей в парадных одеждах... торжественные встречи... но все это лишь вывеска благородного, утонченного общения, на деле же вместо него царят принужденность, неудовольствие и скука; где много гостей, там много и мусору, имей они хоть все по звезде на груди. Настоящее хорошее общество всюду по необходимости очень невелико. Вообще же блестящие, шумные торжества и увеселения пусты внутри, фальшивы уже хотя бы потому, что так резко противоречат горестям и нищете нашей жизни; всякий же контраст только подчеркивает истину. Однако, с внешней стороны все это удастся, а в этом и была вся цель. Прекрасно выразился Шанфор: «Общество, кружки, салоны, вообще все, что называется „светом“

– это жалкая пьеса, плохая опера, интерес к которой кое-как поддерживается машинами, костюмами и декорациями».

Точно так же академии и кафедры философии в сущности только вывески, обманчивый призрак мудрости, которая сама здесь и не ночевала, а находится где-нибудь далеко отсюда. Колокольный трезвон, священнические облачения, благочестивые лица и всяческое ханжество – тоже лишь вывеска, неудачная пародия набожности. Почти все на деле оказывается пустым орехом; зерно редко само по себе и еще реже находится в скорлупе. Искать его надо совсем не тут, и обычно его можно найти лишь случайно.

2) Чтобы оценить положение человека с точки зрения счастья, надо знать не то, что дает ему удовлетворение, а то, что способно опечалить его, и чем незначительнее это последнее, тем человек счастливее: чтобы быть чувствительным к мелочам, надо жить в известном довольстве: в несчастье ведь мы их вовсе не ощущаем.

3) Не следует предъявлять к жизни слишком высокие требования, т. е. строить свое счастье на широком фундаменте; опираясь на него счастье легче может рушиться, будучи

больше подвержено разным бедам, которых избежать нельзя. В этом отношении здание счастья прямо противоположно зданиям вообще, которые прочнее всего держатся именно на широком фундаменте. Поэтому привести свои притязания в соответствие с имеющимися силами и средствами – таков вернейший путь избежать крупных несчастий.

Вообще, заранее строить, каким бы то ни было образом, подробный план своей жизни – одна из величайших глупостей, постоянно совершаемых. При этом всегда рассчитывают на долгую жизнь, а таковая редко кому суждена. Но даже если и прожить долго, то все же и этих лет не хватит для выполнения выработанного плана; оно всегда требует большего времени, чем предполагалось. К тому же эти планы, как и всякое человеческое намерение, так часто встречаются разные препятствия, что очень редко удается провести их до конца. А если и удается выполнить все, то оказывается, что забыли предусмотреть те перемены, какие время совершило в нас самих; упустили из виду, что способность к труду и к наслаждениям не может продолжаться всю жизнь. Так что часто мы трудимся ради того, что, будучи достигнуто, оказывается нам «не по плечу», или же тратим годы на подготовительные работы, незаметно тем временем отнимающие у нас силы, необходимые для главной задачи. Часто оказывается, что мы не можем воспользоваться богатством, добытым ценою многих опасностей и долгих усилий, и следовательно, трудились для других; или, что мы не в силах занимать пост, которого мы многие годы так усердно добивались; все это приходит к нам слишком поздно. Иногда, наоборот, мы опаздываем, особенно, если дело касается творений и произведений: вкусы успели перемениться, подросло новое поколение, несколько нашими мыслями и идеями не интересующееся, или же другие, идя более кратким путем, опередили нас и т. п. То, что изложено под этим пунктом, по-видимому, и имел в виду Гораций, сказав: «К чему утомлять слабую душу расчетами вечности?»

Причина этой обычной ошибки лежит в неизбежном оптическом обмане нашего духовного взора, вследствие которого жизнь, рассматриваемая с порога, кажется бесконечной, а если обернуться назад, дойдя до ее конца, – она представится очень короткой. Правда, этот обман имеет и хорошую сторону: без него едва ли было бы создано что-то великое.

Вообще с нами в жизни происходит то же, что с путником: по мере того, как он идет, предметы приобретают все иные и иные формы, в зависимости от приближения к ним. То же с нашими желаниями. Часто мы находим нечто другое, иногда лучшее, чем то, чего искали; иногда искомое находится совсем не на том пути, по которому мы шли. Иногда там, где мы искали наслаждения и радости, мы находим знание, урок – прочное, истинное благо вместо преходящего и обманчивого. Такова основная мысль «Вильгельма Мейстера» – романа «интеллектуального», который именно поэтому выше всех других, выше даже романов Вальтера Скотта, имеющих этическую подкладку, т. е. рассматривающих человеческую натуру лишь в волевой концепции. Точно так же и в «Волшебной флейте», в этом смешном, но ярком и выразительном символе, резкими и грубыми, как на декорациях, штрихами проведена та же основная мысль. Она была бы проведена до конца, если бы Тамино, которого вернуло желание обладать Таминой, вместо нее захотел бы вступить и вступил бы в храм мудрости, и если бы его противоположность – Папаген получил свою Папагену.

Благородные, хорошие люди скоро усваивают воспитательные уроки судьбы и послушно, с благодарностью следуют им, понимая, что в этом мире можно найти опыт, но не счастье, привыкают охотно менять надежды на знания и соглашаются в конце концов со словами Петрарки: «Я не знаю иного наслаждения, как познавать». Эти люди могут достичь даже того, что они лишь наружно, и то кое-как будут следовать своим желаниям и стремлениям, в сущности же серьезно будут жаждать одного лишь познания, что придаст им оттенок возвышенности, гениальности. Можно сказать, что в этом смысле с нами случается то же, что с алхимиками, искавшими только золото и открывшими вместо него порох, фарфор, целебные средства и ряд законов природы.

## **Б. Поведение по отношению к самим себе**



4) Как рабочий, трудясь над возведением здания или не знает или не всегда отчетливо представляет себе план целого, так же и человек, отбывая отдельные дни и часы своей жизни не имеет общего представления о ходе и характере своего существования. Чем достойнее, содержательнее, планомернее и индивидуальнее этот общий характер его жизни, тем необходимее и благотворнее для человека кидать иногда взгляд на его план, на уменьшенный его абрис. Правда, для этого необходимо, чтобы он уже вступил на путь самопознания и знал, к чему он главным образом и прежде всего стремится, что, следовательно, важнее для его счастья и что может в этом отношении играть вторую и третью роли; необходимо далее, чтобы он знал, каковы в главных чертах его призвание, его роль и отношение к миру. Если все это разумно и возвышенно, то взгляд на общие контуры его жизни сможет больше, чем что-либо иное, укрепить, возвысить человека, подбодрить его к деятельности и удержать от неверного пути.

Как путник может составить общее представление о пройденном пути со всеми его изгибами, лишь взобравшись на какую-либо возвышенность, так и мы только к концу известного периода жизни, а то и к концу самой жизни, можем правильно судить о наших поступках и творениях, понять их связь и сцепление и, наконец, оценить их по достоинству. Ибо пока мы ими поглощены, мы действуем под влиянием неизменных свойств нашего характера, под влиянием мотивов и сообразно со способностями делая, в силу абсолютной необходимости, лишь то, что нам в данную минуту представляется правильным и должным. Лишь результаты показывают, что из этого вышло, а ретроспективный взгляд на все совершенное объяснит нам, почему и как это получилось. Поэтому, совершая величайшие деяния или создавая бессмертные творения, мы не сознаем этих достоинств, а просто видим в них нечто, отвечающее нашим теперешним целям и нашим прежним намерениям, а потому и правильное для данной минуты; лишь из целого, во всей его совокупности выясняется впоследствии наш характер и наши способности. Тогда мы увидим, что в каждом отдельном случае мы, словно осененные свыше, сумели, ведомые нашим гением, найти единственно верную дорогу среди стольких окольных путей. Все это относится и к теории, и к практике жизни, и обратное этому можно сказать о наших дурных поступках и ошибках.

5) Один из важнейших пунктов житейской мудрости заключается в том, в какой пропорции мы разделяем наше внимание между настоящим и будущим: не следует слишком уделять внимания одному в ущерб другому. Многие живут преимущественно настоящим, это – люди легкомысленные; другие – будущим, это

– люди боязливые и беспокойные. Редко кто соблюдает должную меру. Люди, живущие стремлениями и надеждами, т. е. будущим, смотрящие всегда вперед и с нетерпением спешащие навстречу грядущим событиям, – будто эти события принесут им истинное счастье – и пропускающие тем временем настоящее, не успев им насладиться, – это люди, несмотря на написанную на их лицах серьезность, подобны тем ослам, которых в Италии заставляют идти быстрее, привешивая к концу палки, укрепленной на их голове, охапку сена, которую они видят близко перед собою и вот-вот надеются достать. Люди эти обманываются в существе своего существования и до самой смерти живут лишь *ad interim* – нелепо, неизвестно зачем. Итак, вместо того, чтобы исключительно и постоянно заниматься планами и заботами о будущем, или предаваться сожалению о прошлом, – мы должны помнить, что лишь настоящее реально, лишь оно достоверно, будущее же, напротив, почти всегда оказывается не таким, каким мы себе его представляли; к тому же и будущее и прошлое, в сущности, далеко не так важны, как нам кажется. Дальность расстояния, уменьшая предметы для глаза, делает их вполне ясными нашему мышлению. Одно настоящее истинно и действительно, лишь оно – время, реально текущее, и только в нем протекает наше бытие. Поэтому следовало бы всегда приветливо относиться к нему, и, следовательно, сознательно наслаждаться каждой сносной минутой, свободной от неприятностей и боли; не следует омрачать такие минуты сожалением о несбывшихся в прошлом мечтах или заботами о будущем. Крайне неразумно лишать себя светлых

мгновений в настоящем или портить их досадой на минувшее или сокрушением о грядущем. Заботам и раскаянию следует отводить особые часы. Что касается минувшего, надо сказать себе: «Предадим, хотя бы и с сожалением, все прошлое забвению и заглушим в себе всякую досаду»; о будущем – «Все в Божьей власти» и о настоящем – «считай, что каждый день – новая жизнь» (Сенека), – и старайся сделать это единственное реальное время по возможности приятным.

Беспокоить нас должны лишь те предстоящие беды, в наступлении и в моменте наступления коих мы твердо уверены. Но таких бед очень мало: они или только возможны, хотя и вероятны, или же они несомненны, но совершенно неизвестен момент их наступления. Если считаться с теми и с другими, то у нас не останется ни одной спокойной минуты. Следовательно, чтобы не лишаться спокойствия из-за сомнительных или неопределенных бед, мы должны приучиться думать о первых, – что они никогда не наступят, о вторых – что они, если и наступят, то не скоро.

Но чем меньше тревожат нас опасения, тем больше беспокоят желания, вожеления и притязания. Любимые слова Гете:

«Ich habe meine Sache auf nichts gestellt» (ничего мне на свете не надо) означают, что только, освободившись от всех возможных притязаний и примирившись с неприкрашенной, жалкой судьбою своею, человек может приобрести тот душевный покой, который позволяя находить прелесть в настоящем, а следовательно, и в жизни вообще, – составляет основу человеческого счастья. Нам следует твердо помнить, что «сегодня» бывает только один раз и никогда уже не повторится. Мы же воображаем, что оно возвратится завтра же; однако, «завтра» – это уже другой день, который наступает тоже лишь один раз. Мы забываем, что каждый день – то интегральная, незаменимая часть жизни, он является тем же, чем индивид по отношению к обществу.

Мы лучше ценили бы настоящее и больше наслаждались бы им, если бы в те хорошие дни, когда мы здоровы, сознавали, как во время болезни или в беде всякий час, когда мы не страдали и не терпели, казался нам бесконечно радостным, чем-то вроде потерянного рая или встреченного друга. Но мы проживаем хорошие дни, не замечая их; лишь когда наступают тяжелые времена, мы жаждем вернуть их. Мы пропускаем с кислым лицом тысячи веселых, приятных часов, не наслаждаясь ими, чтобы потом, в дни горя, с тщетной грустью вздыхать по ним. Вместо этого следует по достоинству ценить сносное настоящее, хотя бы самое обыденное, которое обычно мы равнодушно пропускаем мимо себя и даже стараемся отбыть как можно скорее. Не надо забывать, что настоящее сейчас же отходит в область прошлого, где оно, освещенное сиянием вечности, сохраняется нашей памятью и когда эта последняя в тяжелый час снимает с него завесу, мы искренне будем сожалеть о его невозвратности.

б) Всякое ограничение (Beschränkung) способствует счастью. Чем уже круг нашего зрения, наших действий и сношений, тем мы счастливее; чем шире он – тем чаще мы страдаем или тревожимся. Ведь вместе с ним растут и множатся заботы, желания и тревоги. Поэтому напр., слепые отнюдь не так несчастны, как мы это а priori судим: об этом свидетельствует тихое, почти радостное спокойствие, освещающее их лица. Отчасти из этого же правила вытекает то, что вторая половина нашей жизни бывает печальнее первой. Дело в том, что с течением лет горизонт наших целей и отношений раздвигается все шире и шире. В детстве он ограничен ближайшим окружением и самыми тесными отношениями; в юношеском возрасте он уже значительно шире; в пожилых годах он охватывает все течение нашей жизни и часто включает самые далекие отношения – государства и нации; наконец, в старости он обнимает и грядущие поколения.

Всякое ограничение, «сужение» хотя бы в духовном отношении, способствует нашему счастью. Ибо, чем меньше возбуждается воля, тем меньше страданий; а мы знаем, что страдания позитивны, а счастье – отрицательное понятие. Сужение сферы наших действий устраняет внешние причины возбуждения воли; ограничение духа – устраняет внутренние причины. Это последнее ограничение имеет, однако, тот недостаток, что открывает доступ

скуке, которая косвенным образом становится источником бесчисленных страданий, ибо, желая прогнать ее, люди хватаются за все, что попало: за развлечения, за общество, роскошь, игру, за вино и т. д. и этим наживают вред, убытки и всяческие несчастья; поистине «трудно найти спокойствие при праздности». Насколько внешние ограничения благотворны, даже необходимы для нашего счастья, – поскольку, конечно, таковое возможно, – это явствует из того, что единственная ветвь поэзии, решающаяся описывать счастливых людей – идиллия, – всегда рисует их в крайне скромном положении и обстановке. На внутреннем ощущении этой истины основано также наше пристрастие к так называемым жанровым картинам. Поэтому счастье могут дать лишь возможно большая простота наших отношений и однообразие жизни, поскольку оно не вызывает в нас скуки; при этих условиях меньше всего ощущается жизнь, а следовательно, и преобладающее в ней горе; – жизнь наша становится ручьем – без волн и стремнин.

7) Особенно важно в вопросе нашего счастья то, чем наполнено, чем занято наше сознание. В этом отношении чисто умственный труд – при условии, что мы на него способны, – даст гораздо больше, чем реальная жизнь, с постоянным чередованием удач и неудач, с разными потрясениями и горестями. Правда, для этого необходимы значительные умственные способности. – Здесь следует отметить, что внешняя жизненная деятельность делает нас рассеянными, отвлекает от серьезных размышлений, лишая нас необходимого для того спокойствия и сосредоточенности. С другой стороны и продолжительные умственные занятия делают нас в известной мере непригодными к суете практической жизни. Поэтому, при наступлении обстоятельств, вынуждающих нас почему-либо к энергичной практической деятельности, благоразумно прерывать на время умственную работу.

8) Чтобы жить вполне разумно и извлекать из собственного опыта содержащиеся в нем уроки, следует почаще припоминать прошлое и пересматривать все, что было прожито, сделано, познано и прочувствовано при этом, сравнивать свои прежние суждения с настоящими, сопоставлять свои задания и усилия с результатами и с полученным удовлетворением. Это будет, так сказать, повторением тех лекций житейской мудрости, какие опыт читает каждому. Опыт можно еще уподобить тексту, комментарием к которому будут служить размышления и познания. Много знаний и усердные размышления при небольшом опыте подобны книгам, в которых на две строчки текста приходится 40 строчек комментариев. Широкий опыт, но без серьезного обдумывания или при ничтожных знаниях подобен бипонтиническим изданиям, без всяких примечаний, и оставляющих многое неясным.

Пифагор дает приблизительно тот же совет, рекомендуя вечером перед сном передумать все, что было сделано за день. Кто живет в вихре удовольствий или в суете дел, никогда не задумываясь о прошлом, и весь поглощен интересами текущей минуты – тот теряет ясность соображения: его дух погружается в какой-то хаос и мысли становятся спутанными, что выражается в отрывочности, раздробленности, бессвязности его речи. Это обнаруживается тем резче, чем больше внешних тревог и впечатлений, и чем слабее внутренняя, душевная деятельность.

Замечу кстати, что и после того, как минули поглощавшие нас дела и отношения, мы, по прошествии значительного времени, уже не в силах возвратить и возобновить вызванные ими когда-то чувства и настроения; мы можем лишь припомнить то, что мы в те времена на них реагировали вовне. Эта внешняя реакция – их результат, выражение, их мерило. Поэтому следовало бы тщательно хранить или в памяти или на бумаге факты из важных периодов нашей жизни. В этом отношении весьма полезны дневники.

9) Довольствоваться самим собою, быть для себя всем и иметь право сказать: *omilia piea mecum porto* (все, что мое, – я ношу с собою) – это бесспорно важнейшее данное для счастья; нельзя не преклониться пред словами Аристотеля (*Eth. Eud.* УП, 2): «счастье – это довольство собою» Это в главных чертах есть та же мысль, которую содержит прекрасная сентенция Шанфора, взятая мною эпиграфом к этой книге. Ибо с одной стороны только на самого себя можно рассчитывать с некоторой уверенностью, а с другой – затруднения и

невыгоды, опасности и неприятности, постигающие нас при общении с людьми, поистине бесчисленны и неизбежны.

Нет более ошибочного пути к счастью, как жизнь в большом свете, с ее блеском и празднествами (high life); стремясь превратить наше жалкое существование в сплошной ряд радостей, наслаждений и удовольствий, мы не избежим разочарования, особенно, если учесть необходимо сопутствующее такой жизни взаимное лганье<sup>21</sup>.

Прежде всего любое общество неизбежно требует взаимного приспособления, уравниения и поэтому, чем общество больше – тем оно пошлее. Человек может быть всецело самим собою лишь пока он один; кто не любит одиночества – тот не любит свободы, ибо лишь в одиночестве можно быть свободным. Принуждение – это неразлучный спутник любого общества, всегда требующего жертв тем более тяжелых, чем выше данная личность. Поэтому человек избегает, выносит или любит одиночество сообразно с тем, какова ценность его «я». В одиночестве ничтожный человек чувствует свою ничтожность, великий ум – свое величие, словом, каждый видит в себе то, что он есть на самом деле. Далее, чем совершенней создан природой человек, тем неизбежнее, тем полнее он одинок. Особенно для него благоприятно, если духовному одиночеству сопутствует и физическое, в противном случае частое общение будет мешать, даже вредить ему, похищать у него его «я», не дав ничего взамен.

Природа установила громадное различие между людьми в смысле ума и нравственных качеств; общество же, не считаясь с этими различиями, уравнивает всех, вернее, заменяет эти естественные различия искусственной лестницей чинов и сословий, часто диаметрально противоположной порядку природы. Такое мерило очень выгодно для тех, кто обижен природой; те же немногие, кто ею щедро наделены, оказываются в невыгодном положении, а потому удаляются от общества, в котором, таким образом, остается одна мелкота. Общество отталкивает умных людей своим принципом равноправия, т. е. равенством притязаний при неравенстве способностей, а следовательно, и заслуг. Так называемое хорошее общество готово признать любые достоинства, кроме умственных; эти последние – контрабанда. Общество возлагает на нас обязанность бесконечного терпения к глупости, и к извращенности и безумию; напротив, личные достоинства должны вымалывать себе пощадку или же прятаться, ибо умственное превосходство оскорбительно уже в силу своего существования помимо всякого вмешательства воли. Поэтому «хорошее» общество имеет не только ту невыгоду что сталкивает нас с людьми, которых мы не можем ни хвалить, ни любить, но и не позволяет нам быть самим собою, следовать своей натуре; с целью уравнять нас с другими, оно принуждает нас сокращать, даже уродовать себя. Умные речи и замечания, имеют смысл лишь в умном обществе; в обычном же их прямо-таки ненавидят: чтобы понравиться в таком обществе, надо быть пошлым и ограниченным, а потому, вступая в него, приходится отречься от 3/4 своего «я», дабы сравняться с другими. Правда, взамен себя мы приобретаем других, но чем выше внутренняя ценность данного субъекта, тем яснее, что выигрыш этот не сможет покрыть потерь, и сделка оказывается невыгодной: ведь общение с людьми не дает ничего, что могло бы вознаградить причиняемую им скуку, принужденность, неприятности и за самоотречение, к которому оно обязывает. Обычное общество таково, что променять его на одиночество только выгодно. К этому надо прибавить, что, желая как-нибудь вычеркнуть истинное духовное превосходство, которого оно не переносит и которое так редко, – общество произвольно подставило на его место ложные, условные достоинства, покоящиеся на бездоказательных положениях, традиционно передающихся в высших классах, и в то же время меняющихся, как пароль; совокупность их называется хорошим тоном *bon ton*, *fashionableness*. Но стоит им столкнуться с истинным превосходством и тотчас же обнаруживается их несостоятельность. Вообще же, «когда на

---

21 Как тело скрыто одеждою, так наш дух облечен ложью. Наши слова, действия, все наше существо лживо, и лишь изредка за этой оболочкой можно угадать наш истинный образ мыслей, как под одеждой угадывается иногда фигура.

сцену выходит хороший тон – здравый смысл удаляется».

Вообще человек может находиться в совершенной гармонии лишь с самим собою; это невысказано ни с другом, ни с возлюбленной: различия в индивидуальности и настроении всегда создадут хотя бы небольшой диссонанс. Поэтому истинный, глубокий мир и полное спокойствие духа – эти, наряду со здоровьем наивысшие земные блага, – приобретаются в уединении и становятся постоянными только в совершенном одиночестве. Если при этом собственное «я» человека богато и высоко, то оно наслаждается высшим счастьем, какое можно найти на этом бедном свете. Будем откровенны: как бы тесно ни связывали людей дружба, любовь и брак, вполне искренно человек желает добра лишь самому себе, да разве еще своим детям. – Чем реже, вследствие субъективных или объективных условий, человек соприкасается с другими, тем лучше для него. Если уединение, безлюдье и имеют свои темные стороны, то, по крайней мере, они заранее известны: напротив, общество, под личиною времяпровождения, бесед, развлечений, коварно скрывает множество часто непоправимых бед. Юношество следовало бы прежде всего другого учить переносить одиночество, так как в нем источник счастья и душевного спокойствия.

Отсюда следует, что благо тому, кто рассчитывает только на себя и для кого его «я» – все. Цицерон говорит: «Счастливее всех тот, кто зависит только от себя и в себе одном видит всех (Paradox II). К тому же, чем выше человек значит для самого себя, тем меньше значат для него другие. Эта самоуверенность и удерживает достойных, внутренне богатых людей от общения с другими, общения, требующего стольких жертв, а тем паче препятствует им искать общества ценою самоотречения. Именно противоположное этому сознание делает заурядных людей такими общительными и приспособляющимися. Необходимо еще отметить, что все действительно ценное – не ценится людьми, а то, что ценится ими – на самом деле ничтожно. Замкнутая жизнь достойных, выдающихся людей служит доказательством и следствием этого. Ввиду сказанного достойный человек поступит чрезвычайно разумно, сократив в случае свои потребности ради того, чтобы сохранить или расширить свою свободу, и ограничить, с этой целью, свою личность, всегда стремящуюся к общению с людьми.

С другой стороны, людей делает общительными их неспособность переносить одиночество, – т. е. самих себя. Внутренняя пустота и отвращение к самим себе гонят их в общество, на чужбину или в путешествия. Их дух не имеет силы привести себя в движение и сил этих они ищут в вине, причем нередко становятся пьяницами. Поэтому же они постоянно нуждаются во внешних возбуждениях, притом в возбуждениях сильных, доставить которые могут однородные с ними существа. Без этого их дух поникает под собственной тяжестью и впадает в тяжелую летаргию<sup>22</sup>. Надо добавить, что каждый из них – лишь малая дробь человечества и потому требуется дополнить его другими, чтобы могло получиться целое человеческое сознание. Напротив, цельный человек, человек *par excellence*, является уже не дробью, а единицей и может довольствоваться самим собою. В этом смысле заурядное общество можно сравнить с русским хором дудок, из которых каждая дает лишь одну ноту, причем мелодия получается лишь при точном, последовательном чередовании дудок. – Ум и душа большинства людей однотонны, как эти дудки; похоже, что у них вертится в голове все время одна и та же мысль, заменить которую другой они не способны. Это объясняет не

---

22 Известно, что несчастья легче переносятся сообща; к несчастьям же люди причисляют и скуку, а потому и сходятся, чтобы скучать вместе. Как любовь к жизни является, в сущности, лишь страхом смерти, так и общительность людей не есть прирожденный инстинкт, покоится не на любви к обществу, а на страхе перед одиночеством; в общении с другими люди вовсе не ищут удовольствия, а просто стараются избежать пугающей их пустоты и тяжести одиночества, однообразия их самосознания; ради того, чтобы уйти от этого, они готовы довольствоваться даже плохим обществом и мирятся с неизбежно связанными с ним тягостями и принуждениями. Но если возьмет верх отвращение ко всему этому, создается привычка к одиночеству, благодаря чему сгладится первоначальное неприятное впечатление от него, о чем сказано выше, – тогда человек может отлично обходиться один, не скучая по обществу; это возможно потому, что потребность в последнем – не первична и поэтому еще, что одиночество само по себе дает немало выгод.

только причину их скуки, но и то, почему они столь общительны и чаще всего держатся стадами (людская стадность). Каждому из них невыносимо беспросветное однообразие собственной личности: «Всякая личность страдает отвращением к себе самой»; лишь, сообщаясь, соединяясь, они образуют нечто цельное – по аналогии с русскими дудками. Умный же человек подобен виртуозу, который может один выступать в концерте, – или же еще роялю; как рояль есть маленький оркестр, так и умный человек представляет собою маленький мир, и то, что другие образуют в совокупности, то образует он один, единством и цельностью своего сознания. Подобно роялю, он не составляет части оркестра, а рассчитан на игру соло, на одиночество; если же он и принимает участие в общем концерте, то или ведет главную партию или, как в вокальной музыке, дает первый тон. – Кто любит бывать в обществе, тот может из этого сравнения вывести правило, что недостаток в качествах окружающих его людей может быть в известной мере возмещен их количеством. Можно довольствоваться общением с одним умным человеком, но если встречается лишь средний сорт людей, то надо общаться с возможно большим числом их, чтобы получить хоть что-нибудь от их разнообразия и совокупности; – по аналогии с упомянутым русским хором; дай только Бог терпения на это!

Этой внутренней пустоте и бедности людей следует приписать то, что если достойные люди, имея в виду какую-либо благородную, идейную цель, соберутся для этого вместе, то результат почти всегда будет следующий: из черни человечества, все заполняющей, повсюду кишасей, словно черви, и готовой воспользоваться первым попавшимся средством, чтобы избавиться от скуки или от нужды, – из этой черни некоторые непременно примажуются или вломятся и сюда, и тогда или попортят все дело, или так исказят его, что исход будет приблизительно противоположен первоначальным намерениям.

Общительность можно рассматривать еще как взаимное душевное состояние, подобное тому физическому, какое практикуется при больших холодах, когда люди для этого сбиваются в кучу. Тот, у кого достаточно собственной душевной теплоты, не нуждается в подобной мере. На этот сюжет мною придумана басня, помещенная в последней главе II тома моих сочинений. Из сказанного следует, что общительность человека приблизительно обратно пропорциональна его интеллектуальной ценности, и сказать «он очень необщителен» – это почти то же самое, что «он – человек высоких достоинств».

Человеку, выдающемуся в умственном отношении, одиночество доставляет двойную выгоду: во-первых, ту, что он остается с самим собою, во-вторых, ту, что он не в обществе других. Последняя выгода очень велика, если вспомнить, сколько принуждения, тягостей, даже опасностей приносит нам общение с людьми, «Вся беда наша в том, что мы не можем быть одни» – говорит Лабрюйер. Общительность – весьма опасная, даже гибельная склонность, так как она сталкивает нас с существами, огромное большинство коих нравственно испорчены и умственно извращены. Человек необщительный в этих людях не нуждается. Обладать стольким в самом себе, чтобы не нуждаться в людях, – это уже потому большое счастье, что источником почти всех наших страданий является общество, а душевное спокойствие, составляющее вместе со здоровьем существенный элемент нашего счастья, – подвергается большим с его стороны опасностям и вообще немислимо без значительной дозы одиночества. Желая приобрести душевное спокойствие, циники отказывались от всякого имущества; кто откажется от общества, тот изобретет лучшее средство к достижению этой же цели. Бернарден де С. Пьер заметил правильно и метко; воздержание от пищи возвращает нам телесное здоровье, воздержание от людей дает нам спокойствие духа». Тот, кто рано свыкся с одиночеством и научился его ценить, тот приобрел золотую россыпь. На это способен не каждый. Ибо или нужда, или, – если она устранена, – то скука, гонят человека в общество. Не будь их обеих, каждый оставался бы один уже потому, что только в одиночестве окружающая среда не противоречит той исключительной важности, тому высшему значению, какое каждый придает собственной личности; жизненное же столпотворение постоянно опровергает это мнение, показывая на каждом шагу его несостоятельность. В этом смысле одиночество является естественным

состоянием человека: оно возвращает ему то первобытное, свойственное его природе счастье, каким наслаждался Адам.

Но ведь Адам не имел ни отца, ни матери. С этой стороны одиночество не есть естественное состояние человека: ведь при самом появлении на свет он не одинок, а имеет родителей и братьев, т. е. находится в обществе. Сообразно с этим склонность к одиночеству не первична, а является следствием опыта и размышления, развиваясь, притом, параллельно с ростом умственных сил и в соответствии с возрастом; из чего следует, что в общем общительность человека обратно пропорциональна с его годами. Маленький ребенок поднимает с испугу отчаянный крик, если его оставить одного на несколько минут. Для мальчика одиночество – тяжелое наказание. Юноши легко сходятся друг с другом; лишь наиболее благородные и возвышенные из них начинают иногда искать одиночества; но пробыть в уединении целый день – это и для них тяжело. Для взрослого это уже не трудно; он может долго оставаться один, притом тем дольше, чем он старше. Для старика, пережившего свое поколение и к тому же отчасти переросшего жизненные наслаждения, отчасти умершего для них, одиночество становится нормальным, естественным состоянием. Но все-таки при этом в каждом человеке склонность к уединению будет более или менее сильной в зависимости от его интеллектуальной ценности. Как уже сказано, это склонность – не чисто врожденная, непосредственно вытекающая из естественной потребности, а представляет собой лишь следствие приобретенного опыта и размышлений о нем, следствие выработанного убеждения в моральной и интеллектуальной бедности большинства людей, причем хуже всего то, что эти моральные и интеллектуальные недостатки человека являются союзниками и усиливают друг друга; в результате получается нечто отвратительное, делающее неприятным, даже невыносимым общение с большинством людей. Выходит, что вообще на этом свете много скверного, но общество все-таки хуже всего; даже Вольтер, общительный француз, и тот признался: «земля населена людьми, не заслуживающими, чтобы с ними разговаривали». – Мягкий Петрарка, столь сильно и постоянно привязанный к одиночеству, указывает на ту же причину: «Всегда искал я одинаковой жизни, – (то знают берега, поля и леса) – чтобы уйти от коротких недалеких умов, потерявших путь, ведущий их в небеса». – В том же смысле высказывается он по этому вопросу и в прекрасном сочинении «De vita solitaria», служащем, по-видимому, образцом Циммерману для его известного трактата об одиночестве. – Шанфор с присущим ему сарказмом подчеркивает этот производный, вторичный характер необщительности: «про человека, живущего уединенно, говорят иногда, что он не любит общества; это одно и то же, что сказать про кого-нибудь: „он не любит прогулок“ на том основании, что он неохотно гуляет вечером по парку Bondy»<sup>23</sup>. – Даже кроткий христианин Ангелиус Силезиус повторяет то же самое своим оригинальным библейским языком: «Ирод – враг, Иосиф – это разум – и ему Бог во сне открыл опасность: Свет – Вифлеем, Египет же – пустыня – в нее должен удалиться дух, чтобы не пасть под тяжестью горя».

Ту же мысль находим у Джордано Бруно: «Все, кто ни старался насладиться на земле небесной жизнью, говорят единодушно: „мы бежали от нее и избрали одиночество“. – В том же духе говорит про себя и персианин Сади в Гулистане: „Когда мне прискучили мои Дамасские друзья, я вернулся в пустыню близ Иерусалима, ища общества зверей“. – Словом, так думали и говорили все, кого Прометей вылепил из лучшей глины. Какое удовольствие может доставить им общение с существами, с которыми соприкосновение возможно лишь на почве низших, худших элементов их природы, на почве будничных, тривиальных, низких черт, которые только и служат в данном случае связующим звеном? Этой черни, неспособной подняться до их уровня, не остается ничего другого, как низвести их до себя, к чему она и прилагает всяческие старания. Следовательно, чувство, питающее склонность к уединению и одиночеству – есть чувство аристократическое. Пошляк всегда общителен;

---

23      этом же смысле высказывается и Сади (пер. Графа, стр. 65): «С этого времени мы распростились с обществом и вступили на путь одиночества; ибо только этот путь верен и безопасен».

если же человек благороден, то это скажется прежде всего в том, что он не будет находить удовольствия в обществе, а все более и более станет предпочитать ему одиночество и постепенно, с годами придет к убеждению, что за редкими исключениями на свете только и есть выбор, что между одиночеством и пошлостью. Как ни звучит это резко, но несмотря на свою христианскую любвеобильность и мягкость, Ангелиус Силезиус согласился с этим: „тяжело одиночество; но если ты не будешь пошлым, – то ты повсюду будешь как в пустыне“.

Что касается людей, выдающегося ума, то вполне естественно, что эти истинные воспитатели человечества питают не больше склонности к тому, чтобы вступить в общение с другими, чем педагог к тому, чтобы вмешаться в шумную игру детей. Ведь они, рожденные для того, чтобы направить мир чрез море лжи к истине и вывести его из глубокой пропасти дикости и пошлости – на свет, к высокой культуре и благородству, – они, хотя и живут среди людей, однако, все же не принадлежат, в сущности к их обществу и потому уже с юности сознают себя значительно отличающимися от них существами; впрочем, вполне ясное сознание этого слагается не сразу, а с годами; тогда они начинают заботиться о том, чтобы к духовной отчужденности от других присоединить еще и физическую, и для этого никого не подпускают близко к себе, кроме разве тех, кто более или менее чист от общей пошлости.

Из сказанного следует, что любовь к одиночеству не есть непосредственное, врожденное влечение, а развивается косвенным путем, постепенно, по преимуществу в благородных людях, причем им приходится преодолеть при этом естественную склонность к общительности и бороться с нашептыванием Мефистофеля.

«Брось предаваться горьким бредням; Они – как коршун на груди твоей.

Почувствуешь себя ты в обществе последнем, Что человек ты меж других людей».

Одиночество – удел всех выдающихся умов: иногда оно тяготит их, но все же они всегда избирают его, как наименьшее из двух зол. С годами, однако, люди мирятся с одиночеством, оно становится все легче и естественнее, и на шестом десятке влечение к нему делается нормальным и даже инстинктивным. К этому времени решительно все благоприятствует этому влечению. Исчезают сильнейшие побуждения к общительности – успех у женщин и половое влечение; этот бесполой характер старчества кладет основу известной самоудовлетворенности, вытесняющей со временем всякую общительность. Тысячи планов и глупостей изведаны и разоблачены; активная жизнь в большинстве случаев уже кончена, ждать больше нечего, нет никаких планов, никаких намерений; поколение, к которому человек принадлежит, уже исчезло с лица земли; окруженный чуждым племенем, он уже объективно одинок. К тому же, полет времени ускорился, а дух все же хочет его использовать. Ибо, если только сохранилась ясность ума, то благодаря множеству приобретенных знаний и опытности, благодаря тому, что все мысли уже продуманы и разработаны, благодаря умению и привычке использовать все свои силы – всякое умственное занятие становится более легким и интересным, нежели прежде. Тысячи вещей, раньше словно окутанных туманом, теперь видны ясно; результаты трудов человека убеждают его в его превосходстве. Вследствие многолетнего опыта он уже не ждет много от человечества; ведь, взятое в целом, оно отнюдь не таково, чтобы выиграть при ближайшем знакомстве; напротив, кроме некоторых редких, счастливых исключений, на свете попадаются лишь весьма дефектные экземпляры человеческого типа, к которым лучше вовсе не прикасаться. В эти годы не поддаешься более обычным обманам, скоро распознаешь каждого и редко ощущаешь желание войти с ним в более близкие отношения. Наконец, – в особенности если человек еще в юности приучился к замкнутой жизни, – привычка к одиночеству укореняется, становится второй натурой. Любовь к одиночеству, которая прежде должна была бороться с общительностью, теперь становится нормальной, естественной: в одиночестве человек чувствует себя, как рыба в воде. Каждая выдающаяся, а, следовательно, непохожая на других, обособленно живущая личность, в юности, быть может, страдавшая от одиночества, – видит в нем к старости свое лучшее утешение.

Правда, этой существенной привилегией старости человек пользуется все-таки в



соответствии со своими умственными силами, так что выдающийся ум выиграет от этого больше всего; однако, до известной степени эта выгода достается всем. Лишь крайне убогие и пошлые люди остаются на старости лет столь же общительными, как и раньше; в этом случае они становятся в тягость обществу, от которого они отстали; в лучшем случае их терпят, тогда как раньше они были желанными гостями.

В этом обратном соотношении между числом лет и степенью нашей общительности можно найти телеологическую подкладку. Чем моложе человек, тем больше он должен учиться всему; но природа предоставляет ему лишь то «взаимное обучение», какое дает общение с равными себе, в этом смысле человеческое общество можно сравнить с огромной Белль – Ланкастерской школой. Училища и учебники слишком удалены от природы, а потому вполне целесообразно, что человек тем прилежнее посещает «школу природы», чем он моложе.

«Ничто не бывает хорошо во всех отношениях», сказал Гораций, и «нет лотоса без стебля», гласит индийская поговорка; точно так же и одиночество, при всех его преимуществах, имеет незначительные невыгоды и тягости, которые, однако, ничтожны по сравнению с теми, какие доставляет нам общество; поэтому тот, кто обладает известными достоинствами, найдет, что гораздо легче обходиться без людей, чем жить с ними. – Среди этих невыгод есть одна, которая людьми подмечается реже, чем другие; заключается она в следующем: как после непрерывного долгого пребывания в комнате тело наше становится настолько чувствительным к внешним влияниям, что малейший свежий ветерок вызывает болезнь, – так и наша душа после долгой замкнутой жизни и одиночества приобретает такую чувствительность, что незначительнейшее происшествие, слово, даже выражение лица уже беспокоит, задевает или оскорбляет нас, тогда как человек, постоянно вращающийся среди людской суеты, вовсе не обратит на это внимания.

Тот, кого в юности справедливое отвращение к людям заставило удаляться от них и кто все-таки не может выносить продолжительного одиночества, – тому я посоветую приучить себя вносить в общество часть своего одиночества, т. е. привыкнуть быть и в обществе в известной мере одиноким, следовательно, не высказывать всего что он думает, и с другой стороны не очень доверять тому, что скажут люди; не ждать от них многого ни в моральном, ни в умственном отношении и выработать в себе то равнодушие к их мнениям, при котором только и может создаться истинная терпимость. Тогда он, хотя и будет среди людей, но все же не будет принадлежать к их обществу, и это оградит его от слишком близкого соприкосновения с ними, а, следовательно, и от осквернения и вреда. Образцом такой суженной «забронированности» является дон Педро в комедии Моратина «El cafe, o Sea la comedia pueva», особенно, во второй и третьей сцене 1-го акта. В этом смысле общество можно сравнить с огнем, у которого умный греется в известном отдалении от него, а не суется в пламя, как глупец, который, раз обжегшись, спасается в холод одиночества, жалуясь на то, что огонь жжется.

10) Зависть в человеке естественна и все же она и порок и несчастье<sup>24</sup>. В ней мы должны видеть врага нашего счастья и всеми силами стараться задушить ее. На этот путь наставляет нас Сенека (de ira III, 30) прекрасными словами: «будем наслаждаться тем, что имеем, не вдаваясь в сравнения; никогда не будет счастлив тот, кто досадует на более счастливого»; и далее (ep. 15): «вместо того, чтобы считать превосходящих тебя людей, подумай, скольких ты превосходишь». Следует чаще думать о тех, кому живется хуже нашего, чем о тех, кто кажется счастливее нас. Когда нас постигают действительные несчастья, то лучшее утешение, – хотя оно и истекает из того же источника, что и зависть – доставит нам зрелище чужих страданий, превосходящих наше горе, а после этого – общение с людьми, находящимися в том же положении что и мы – с сотоварищами по несчастью.

Такова активная сторона зависти. Относительно пассивной ее стороны надо сказать,

---

24 Зависть людей показывает насколько они себя чувствуют несчастными; постоянное их внимание к тому, что делают другие, показывает, как они скучают.

что никогда ненависть не бывает столь непримиримой, как зависть; потому не следует постоянно и усердно возбуждать ее в других, а наоборот, отказаться от этого наслаждения – как и многих других, – из-за опасных его последствий.

Есть три вида аристократии: 1) по рождению и по чину, 2) денежная аристократия, 3) аристократия ума. Последняя, по существу, – наивысшая и даже будет признана таковой, если дать на это много времени; уже Фридрих Великий сказал: «*les vmes priviligiées rangent a l'égale des souverains*» (выдающиеся умы стоят наравне с государями), когда его гофмаршалу показалось неподобающим, что в то время, как министры и генералы сидели за маршальским столом, Вольтеру было назначено сесть за тот стол, за которым расположились владетельные князья и их наследники.

– Каждая из этих аристократий окружена сонмом завистников, втайне злобствующих на каждого ее члена и старающихся, – если, конечно, его не приходится бояться – так или иначе дать ему понять, что он несколько не выше их. Однако именно это старание и выдает, что сами они убеждены в противном. Тем, кому завидуют, следует подальше держать эту рать завистников и по возможности избегать всякого соприкосновения с ними, так, чтобы их вечно разделяла широкая пропасть; если это невыполнимо, то остается равнодушно переносить все их нападки, источник коих иссякнет сам собою; – этот способ и практикуется весьма часто. Напротив, члены одной аристократии относятся обычно без зависти к членам двух других, и каждый считает свое достоинство равным достоинству другого.

11) Прежде чем браться за выполнение какого-либо намерения, надо несколько раз хорошенько его обдумать и даже после того, как все нами уже подробно рассмотрено, следует принять в расчет несовершенство людского познания, из-за коего всегда возможно наступление обстоятельств, исследовать и предвидеть которых мы не смогли, – обстоятельств, способных опрокинуть все наши расчеты. Такое размышление непременно прибавит весу на сторону отрицания и скажет нам, что не следует без необходимости, трогать ничего важного, нарушать существующий покой. Но раз решение принято, раз мы уже взялись за дело, дальнейшее направление его определено и остается только ждать результатов, – то нечего волновать себя повторными размышлениями о деле уже предпринятом и тревожиться возможными опасностями; наоборот, надо совершенно выкинуть это из головы, подавить всякую мысль о нем и утешить себя сознанием, что в свое время это дело было нами основательно обдумано. Подобный совет содержит итальянская поговорка: «*legala bene a roi lascia la andare*», которую Гете перевел словами: «сделай хорошенько и тогда уже поезжай спокойно». (Кстати, значительная часть его афоризмов, помещенных под рубрикой «*Sprichwörtlich*» – ничто иное, как переведенные итальянские пословицы). – Если, несмотря на все, дело кончилось неудачей, то это потому, что все наши планы подчинены случаю и подвержены ошибкам. Даже Сократ, мудрейший из людей, нуждался в «Демонионе» – высшей предостерегающей силе – чтобы знать, как следует поступать или как избежать ложного шага в своих личных делах; это доказывает, что никакой ум не в силах сам справиться с этими вопросами. Поэтому сказанное, по-видимому, каким-нибудь папой изречение: «в каждом постигшем нас несчастье виноваты мы сами, по крайней мере, отчасти» – не безусловно и не всегда – хотя в огромном большинстве случаев – верно. Сознание того, по-видимому, сильно влияет на то, что люди по возможности стараются скрыть свои несчастья и казаться довольными: они опасаются, что по их страданиям заключат об их вине.

12) Если произошло какое-либо несчастье, которого уже нельзя поправить, то отнюдь не следует допускать мысли о том, что все могло бы быть иначе, а тем паче о том, как можно было бы его предотвратить: такие думы делают наши страдания невыносимыми, а нас – самоистязателями. Лучше брать пример с царя Давида, неотступно осаждавшего Иегову мольбами о своем сыне, пока тот лежал больным; когда же он умер, – Давид только пожал плечами и больше о нем не вспоминал. Тот, у кого не хватит на это легкомыслия, может воспользоваться фаталистической точкой зрения, ухватившись за ту великую истину, что все свершается в силу необходимости и потому неизбежно.

Впрочем, это правило односторонне. Правда, оно пригодно для непосредственного успокоения и облегчения в минуту горя; но если в случившемся виновата – как это бывает чаще всего наша собственная небрежность или безрассудность, тогда повторные размышления о том, как можно было предотвратить беду, послужат в качестве полезного самосечения, к нашему исправлению, уроком на будущее время. Особенно не следует, как это часто делается, оправдывать, скрашивать, смягчать пред самим собою те ошибки, в которых мы очевидно виноваты; надо сознаться в них самому себе, ясно представить себе весь их размер, чтобы твердо решиться избегать их впредь. Правда, этим мы создадим недовольство самими собою, но: «если не наказывать человека, он ничему не научится».

13). Нужно сдерживать свое воображение во всем, что касается нашего счастья или несчастья; прежде всего не строить воздушных замков: они обходятся слишком дорого, так как приходится вскоре же и с грустью разрушать их. Но еще больше надо остерегаться рисовать себе возможные только несчастья. Если бы они действительно были взяты «с ветра», или были маловероятны, то очнувшись от этого сна, мы понимали бы, что все это – только кошмар, а потому тем больше радовались бы лучшей, по сравнению с ними, действительности; во всяком же случае мы извлекли бы из этого предостережение против отдаленных, хотя и возможных бедствий. Но воображение редко создает такие картины; «от нечего делать» оно рисует одни лишь «увеселительные замки». Материалом же для наших мрачных дум служат те несчастья, которые хотя и далеки, но в известной мере реально грозят нам, такие беды воображение увеличивает, переносит их ближе, чем они есть на самом деле, и окрашивает самой мрачной краской. Такие думы нам труднее стряхнуть с себя при пробуждении, чем радужные мечты, которые тотчас же опровергаются действительностью, причем в лучшем случае от них остается слабая надежда. Раз уж мы предались мрачным мыслям (blue devils), то появляющиеся в воображении картины сглаживаются не так-то легко: возможность их осуществления существует, в общем, всегда; самую же степень возможности мы не всегда можем определить; возможность легко превращается в вероятность – и мы уже встревожены. Поэтому то, что касается нашего счастья или несчастья, должно рассматриваться через призму разума, рассудка, спокойного холодного размышления и при посредстве одних абстрактных понятий. Воображение не должно участвовать в этом, ибо оно не рассуждает, а лишь рисует нам картины, бесплодно, а нередко и очень болезненно волнующие нас. Особенно строго следует соблюдать это правило вечером. Как темнота делает нас боязливыми и все наполняет страшными образами, так же влияет и неясность мысли; неясность всегда порождает боязливость; поэтому вечером, когда утомление и сонливость обволакивают разум и рассудок туманом, когда дух устал и не в силах ясно разбираться во всем, тогда предметы наших мыслей, особенно, если они касаются наших личных дел, легко могут показаться страшными и опасными. Чаще всего это бывает ночью, в постели, когда дух совершенно ослаб, рассудок плохо отвечает своему назначению и бодрствует одно лишь воображение. Ночь всему придает черный оттенок. Поэтому в наших мыслях перед засыпанием или при пробуждении среди ночи факты обычно так же грубо искажаются и обезображиваются, как во сне; если дело касается личных обстоятельств, то они представляются крайне мрачными и ужасающими. Утром такие кошмары испаряются, как сны; испанская поговорка гласит: ночь темна, день – светел». Но уже вечером, когда зажжены огни, разум, как и глаз, видит не так ясно, как днем; поэтому вечер непригоден для серьезных, а тем паче неприятных размышлений. Для этого, как и для всех вообще занятий без исключения, как умственных, так и физических, – самое подходящее время – утро. Утро – это юность дня – все радостно, бодро и легко; мы чувствуем себя сильными и вполне владеем всеми нашими способностями. Не следует ни укорачивать его поздним вставанием, ни тратить его на пошлые занятия или болтовню, а видеть в нем квинтэссенцию жизни, нечто священное. Вечер – это старчество дня; вечером мы устали, болтливы и легкомысленны. Каждый день – жизнь в миниатюре: пробуждение и вставание – это рождение, каждое свежее утро – юность и засыпание – смерть.

Вообще состояние здоровья, сон, питание, температура, погода, обстановка и много

других внешних условий оказывают могучее влияние на наше настроение, а это последнее – на наши мысли. Потому-то от времени, даже от места зависят в такой мере наши взгляды на разные обстоятельства и наша способность к труду. Гете говорит: «Ловите хорошее настроение – оно так редко посещает нас».

Не только нам приходится выжидать угодно ли и когда именно угодно будет появиться объективным представлениям и оригинальным мыслям, но даже вдумчивое размышление о каком-либо личном деле не всегда удается нам в тот час, какой мы заранее для него назначили и когда мы к нему уже приготовились; оно часто само выбирает время и тогда уже мысли текут своим порядком и мы можем проследить их с полным вниманием.

Обуздывая наше воображение, необходимо еще запретить ему восстанавливать и раскрашивать когда-то пережитые несправедливости, потери, оскорбления, унижения, обиды и т. п.; этим мы только разбудим давно задремавшую в нас досаду, гнев и другие низкие страсти, и тем загрязним нашу душу. Неоплатоник Прокл дает прекрасное сравнение: как в каждом городе рядом с благороднейшими, выдающимися людьми живет всякий сброд, так и каждый, даже лучший, благороднейший человек обладает с рождения низкими и пошлыми свойствами человеческой, а то и звериной природы. Не следует возбуждать эти элементы к восстанию, ни даже позволять им вообще высываться наружу, ибо они крайне отвратительны на вид, вышеупомянутые образы фантазии – это их демагоги. К тому же малейшая неприятность, причиненная людьми или вещами, если постоянно ее пережевывать и рисовать в ярких красках и в увеличенном масштабе – может разрастись до чудовищных размеров, и лишит нас всякого самообладания. Ко всякой неприятности следует относиться как можно прозаичнее и трезвее, чтобы перенести ее по возможности легче. – Как маленькие предметы ограничивают поле зрения и все закрывают собой, если поместить их близко у глаза, – так же и люди, и предметы, ближайшим образом нас окружающие, как бы незначительны и неинтересны они ни были, чрезмерно занимают наше воображение и мысли, доставляя обычно одни неприятности и отвлекая от важных мыслей и далее. С этим необходимо бороться.

14) При виде того, что нам не принадлежит, у нас часто появляется мысль: «а что, если бы это было моим?» – и мысль эта дает нам чувствовать лишение. Вместо этого следовало бы почаще думать: «а что, если все это не было моим»; – другими словами, мы должны бы стараться смотреть иногда на то, что у нас есть, так, как будто мы этого недавно лишились, ибо только после потери мы узнаем ценность чего бы то ни было – имущества, здоровья, друзей, возлюбленной, ребенка, лошади, собаки и т. д. Если усвоить себе предлагаемую мною точку зрения, то, во-первых, обладание этими вещами доставит нам больше непосредственной радости, чем раньше и, во-вторых, заставит нас принять все меры к тому, чтобы избежать потерь: – мы не станем рисковать имуществом, сердить друзей, подвергать искушению верность жены, будем заботиться о здоровье детей и т. д.

Мы часто стараемся разогнать мрак настоящего расчетами на возможную удачу и создаем тысячи несбыточных надежд, из коих каждая чревата разочарованием, наступающим тотчас же, как только наша мечта разобьется о суровую действительность. Гораздо лучше было бы основывать свои расчеты на великом множестве дурных возможностей; с одной стороны это побуждало бы нас принимать меры к их предотвращению, с другой – неосуществление этой возможности доставляло бы нам приятный сюрприз. Ведь после пережитого страха мы всегда заметно веселеем. Далее, следовало бы иногда представлять себе крупные несчастья, которые могли нас постигнуть, для того, чтобы легче перенести те более мелкие, какие потом поразят нас на самом деле; тогда мы легко утешимся, вспомнив о ненаступивших более крупных бедах. – Однако, ради этого правила не должно пренебрегать предыдущими.

15) Так как все касающиеся нас дела и события наступают и текут порознь, без порядка и без взаимной связи, резко контрастируя одно с другим и не имея между собою ничего общего, кроме того, что они все касаются нас, – то и мысли и заботы о них, для того чтобы им соответствовать, должны быть столь же обрывочны. Следовательно, принимаясь за

что-нибудь, мы должны отрешиться от всего остального и посвящать особое время разным заботам, наслаждениям и испытаниям, совершенно забывая пока об остальном; наши мысли должны быть, так сказать, разложены по ящикам, причем, открывая один, следует оставлять остальные закрытыми. Этим путем мы достигнем того, что нависшие тяжелые заботы не будут отравлять в настоящем наших небольших радостей, и лишать нас спокойствия; одна мысль не будет вытеснять другой, забота о каком-либо одном важном деле не заставит нас пренебрегать тысячью мелких дел и т. д. Тот же, кто способен на высшие, благородные мысли, отнюдь не должен занимать, погружать свой дух в личные выгоды и в низменные заботы настолько, чтобы они закрыли доступ возвышенным идеям; это поистине значило бы «ради самой жизни отрешиться от ее смысла». – Правда, для того, чтобы следовать этим директивам, как и для многого другого, необходимо самопринуждение; силы для него даст нам то соображение, что каждый человек постоянно подчиняется грубому принуждению извне, от которого не избавлен никто, и что небольшое, разумно и вовремя примененное самопринуждение может охранить нас от крупного внешнего насилия – как небольшая дуга внутреннего круга соответствует иногда в 1000 раз большей дуге круга внешнего. Ничто не избавит нас в такой мере от внешнего принуждения, как самопринуждение; Сенека (ep. 37) выразил это словами: «если хочешь подчинить себе все – подчини себя самому разуму». Наконец, ведь самопринуждением распоряжаемся мы сами и потому, в крайнем случае, если оно беспощадно и не слушается никаких доводов, причиняет слишком сильную боль мы можем ослабить его, внешнее же принуждение безжалостно, а потому и следует предупреждать его посредством первого.

16) Направлять желания на определенную цель, сдерживать вожеления, обуздывать свой гнев, памятуя постоянно, что человеку доступна лишь бесконечно малая часть того, чего стоит желать, и что, напротив, множество бед непременно постигнут каждого; словом, воздерживаться и сдерживаться – таково правило, без соблюдения которого ни богатство, ни власть не помешают нам чувствовать себя несчастными. Гораций сказал по этому поводу: «среди законов и искусившихся в знаниях мудрецов человеку живется легче всего: не поддавайся волнующим страстям, ни страху, ни мелким корыстным надеждам».

17) «Жизнь состоит в движении», сказал справедливо Аристотель; как наша физическая жизнь заключается в постоянном движении, так и внутренняя, духовная жизнь требует постоянного занятия чем-нибудь – мыслями или делом; доказательством тому служит то, что праздные, ни о чем не думающие люди непременно барабанят по столу пальцами или чем-нибудь другим. – Наша жизнь – безостановочное движение, и полное безделье скоро становится невыносимым, порождая отчаянную скуку. Эту потребность в движении надо регулировать, чтобы методически – и следовательно, полнее – удовлетворить ее. ПОЭТОМУ заниматься «чем попало», делать, что придется идя, по крайней мере, учиться чему-нибудь – словом, та или иная деятельность – необходима для счастья человека: его силы стремятся быть использованными, а сам он желал бы видеть известный результат их применения. Наибольшее удовольствие в этом отношении мы получаем, если смастерили, изготовили что-либо, будь то корзинка или книга; видеть, как с каждым днем вырастает в наших руках и становится, наконец, законченным какое-либо творение – доставляет нам непосредственное счастье. Несущественно, художественное ли это произведение, очерк или просто рукоделие; хотя правда, чем благороднее труд, тем больше наслаждения дает он. С этой точки зрения счастливее всех высокоодаренные люди, сознающие в себе способность создавать серьезные, великие и связанные общей мыслью труды. Все бытие их проникается возвышенным интересом, придающим ему особую прелесть, какой не имеет жизнь других, бесцветная по сравнению с их жизнью. Для них мир и его жизнь представляют, помимо общего для всех материального интереса, еще другой, более высокий и действенный интерес, дающий материал для их творений, в усердном накоплении коего они проводят всю жизнь, поскольку личные нужды дают им передохнуть. Ум у них как бы двойной: один для обыденных дел – волевых интересов, другой-для чисто объективного восприятия явлений. И жизнь их двойная: они одновременно и зрители и актеры; остальные же все-только актеры.

Во всяком случае, каждый должен по мере способностей заниматься чем-нибудь. Как вредно влияет отсутствие планомерной деятельности,— это показывают долгие увеселительные поездки, во время коих нередко чувствуешь себя крайне несчастным, так как, будучи лишен настоящих занятий, человек как бы вынут из родной стихии. Трудиться, бороться с препятствиями — это такая же потребность для человека, как рыться в земле — для крота. Бездействие, которое явилось бы следствием полного удовлетворения в силу непрерывных наслаждений — было бы для него невыносимым. Главное его наслаждение — одолевать препятствия, будь то препятствия материальные, как при физическом труде и в житейских делах,— или духовные, как в науке и исследовании—все равно—борьба с ними и победа дают счастье. Если нет повода к борьбе, человек как-нибудь создаст его: в зависимости от своей индивидуальности он станет охотиться, играть в бильбоке или же, под влиянием бессознательных свойств своей натуры, будет искать раздоров, завязывать интриги, а не то ударится в мошенничество и в разные гадости, лишь бы избавиться от невыносимого покоя. «Трудно при праздности найти покой».

18) Путеводной звездой нашей деятельности должны быть не однообразные фантазии, а ясно усвоенные понятия. Обычно бывает обратное. При ближайшем исследовании мы убеждаемся, что в конце концов решающий голос во всех наших делах принадлежит не понятиям, не рассуждению, а именно воображению, облакающему в красивый образ то, что оно желало бы нам навязать. Не помню, в каком романе,— у Вольтера или Дидро,— юному герою, стоявшему, как Геркулес на распутье, добродетель всегда представлялась в виде старого наставника, держащего в левой руке табакерку, а в правой— понюшку табаку и разглагольствующего о нравственности; порок же — в виде камеристки его матери. Особенно в юности наши грезы о счастье облакаются в форму тех или иных образов, сохраняющихся иногда в течение половины, а то и всей жизни. В сущности, это лишь блуждающие огни, ибо как только мы достигаем их, они тотчас же рассеиваются в ничто, и мы видим, что они не могут дать нам того, что сулили. В мечтах этих нам рисуются разные сцены из домашней, общественной, светской или деревенской жизни, рисуются жилище, обстановка, знаки отличия или уважения и т. п.— «у всякого безумца своя фантазия»; к их числу принадлежит часто и образ любимой женщины. Вполне понятно, почему это так; все реально существующее, будучи непосредственно, действует прямее и сильнее на нашу волю, чем понятие, абстрактная мысль, дающая лишь нечто общее без частного: а только это последнее и может быть реально—потому—то чистые понятия и влияют косвенно на нашу волю. Зато только понятие исполняет то, что обещало; доверие к нему одному — признак культуры. Правда, понятие иногда нуждается в пояснении, в иллюстрации какими-либо образами, однако *cum grano salis*.

19) Предыдущее правило следует подчинить более общему: надо всегда господствовать над впечатлениями настоящего и вообще всего реально существующего. Впечатления эти несоразмерно сильнее мыслей и знаний, и не в силу своего объекта и содержания, часто ничтожного, а благодаря форме, благодаря своей реальности и непосредственности, влияющей на наш дух, нарушающей его покой или колеблющей его принципы. Нетрудно заметить, что все реально существующее действует на нас сразу со всей своей силой, мысли же и доводы, напротив, обдумываются по частям и для этого требуют времени и покоя, а потому мы не во всякую минуту способны справиться с ними. Вследствие этого, удовольствия, от которых мы по размышлении отказались, продолжают дразнить нас, пока мы их видим; точно так же суждение, в состоятельности коего мы убеждены, оскорбляет нас, обида, заслуживающая на наш же взгляд только презрения, сердит; точно так же десять доводов против существования опасности перевешиваются кажущейся ее наличностью. Здесь сказывается врожденная неразумность нашего существования. Женщины особенно часто поддаются влиянию впечатлений, да и у немногих мужчин окажется такой перевес разума, который охранял бы их от этого влияния. Если мы не можем вытравить впечатление путем размышления, то самое лучшее — нейтрализовать одно впечатление другим—противоположным, напр., впечатлению обиды противопоставить посещение лиц,

уважающих нас, впечатлению грозящей опасности – исследование средств к ее предотвращению. Лейбниц (*nouveaux essais*, L. I, c.2, §11) рассказывает, что одному итальянцу удалось вынести пытку благодаря тому, что он, как решил заранее, ни на минуту, пока его пытали, не выпускал из воображения вид виселицы, к которой привело бы его признание; время от времени он восклицал «я вижу тебя»; впоследствии он объяснил, что это относилось к виселице. По той же причине очень трудно остаться непоколебимым в своем мнении, когда все окружающие держатся противоположного мнения, и действует сообразно этому-даже, если мы твердо убеждены в своей правоте. Для бежавшего от преследователей и серьезно хранящего *incognito* короля церемонные поклоны его верного спутника – хотя бы и с глазу на глаз – составляют почти необходимое утешение, без которого он мог бы усомниться в самом себе.

20) Указав еще во II-ой главе на высокую ценность здоровья, первого и важнейшего условия нашего счастья, я приведу теперь несколько общих правил его сохранения и укрепления.

Чтобы закалить себя, человеку необходимо, пока он здоров, подвергать как все свое тело, так и отдельные его части сильным напряжениям, утомлять его и приучать себя противостоять всяким вредным влияниям. Но как только наступает болезненное состояние всего тела или одного органа, следует немедленно перейти на противоположный режим и всячески беречь и щадить свое больное тело или орган; болящее, ослабленное тело непригодно для закаливания.

Мышцы крепнут от усиленных упражнений, нервы, наоборот, слабеют от этого. Следовательно, упражняя мышцы, отнюдь нельзя делать того же с нервами. Точно так же глаза следует оберегать от слишком сильного, особенно отраженного света, от напряжения в потемках, и от продолжительного рассматривания мелких предметов; уши – от слишком громкого шума, особенно же, мозг – от вынужденного, слишком длительного или несвоевременного напряжения; во время пищеварения он должен отдыхать, так как тогда та самая жизненная сила, которая создает мысли в мозгу, напряженно перерабатывает пищу и вырабатывает желудочные соки; точно так же мозгу необходимо отдыхать при или после тяжелой мускульной работы. Двигательные и воспринимающие нервы подчинены одним и тем же законам и, как боль, ощущаемая в пораженном месте, гнездится, в сущности, в мозгу, так и ходьба, и работа совершаются не ногами и руками, а опять-таки мозгом, той его частью, которая через мозжечок и спинной мозг возбуждает нервы этих органов и приводит их в движение. Утомление, ощущаемое в ногах или в руках, так же коренится, в сущности, в мозгу, почему и устают лишь те мышцы, движение коих произвольное, т. е. исходит от мозга, и не устают те, которые, как сердце, сокращаются непроизвольно. Очевидно, что мозг должен страдать, если требовать от него одновременно – или со слишком малым промежутком времени – и мускульной деятельности, и умственного напряжения. Этому не противоречит то, что в начале прогулки, или вообще при недолгой ходьбе, умственная деятельность обычно повышается; дело в том, что здесь еще не наступило утомление упомянутых частей мозга, а с другой стороны легкая мускульная работа и ускоренное благодаря ей дыхание, способствуют приливу к мозгу артериальной, к тому же лучше окисленной крови. – Особенно же следует уделять должное время сну, необходимому для освежения мозга; для человека сон – то же самое, что для часов – завод (см. Мир как воля и представление, II). Это необходимое количество сна тем больше, чем более развит и деятелен мозг; но превышать эту норму – значит даром терять время, так как сон потеряет в интенсивности то<sup>25</sup>, что он выигрывает в продолжительности (см. Мир как воля и представление, II). Вообще надо хорошенько усвоить, что мышление есть органическая

---

25 Сон-это частичка смерти, которую мы занимаем заранее, сохраняя и возобновляя ею истощившуюся за день жизнь. Сон – заем, сделанным у смерти для поддержания жизни, иначе говоря «процент со смерти», причем сама смерть – это уплата всего капитала, уплата, отсрочиваемая тем дальше, чем выше проценты и чем правильнее они вносятся.

функция мозга и потому, в отношении работы и покоя, аналогично всякой другой деятельности. Как глаза, так и мозг портятся от чрезмерного напряжения. Правильно замечено: мозг мыслит так же, как желудок варит. Ошибочное представление о нематериальном, обособленном и постоянно, в силу своего существа мыслящем, а потому никогда не устающем духе, помещающемся в мозгу и ни в чем решительно не нуждающемся – вовлекло многих в неразумную жизнь, притупившую их душевные силы; Фридрих Великий пробовал, напр., вовсе отвыкнуть от сна. Профессора философии отлично сделали бы, если бы перестали поощрять это практически пагубное безумие своей философией, притязавшей на абсолютную непогрешимость. Надо отвыкнуть видеть в душевных актах одни лишь физиологические функции и сообразно с этим и обращаться с психическими силами – щадить или напрягать их; надо помнить, что всякое телесное страдание, недомогание, расстройство, где бы оно ни случилось, отражается на психике. Особенно убеждает в этом труд Кабаниса: «Des rapports du physique et du inoral de l'homme».

Невыполнение этого совета – это и есть та причина, по которой многие выдающиеся умы и ученые впадали к старости в слабоумие, в детство, а то и сходили с ума. То, напр., что знаменитые английские писатели XIX века как Вальтер Скотт, Водсворт, Southy и др. к старости, уже к шестому десятку тупели, теряли умственные способности, впадали в слабоумие, – это, без сомнения обусловлено тем, что все они, соблазненные высоким гонораром, стали смотреть на свое творчество, как на ремесло, т. е. писать ради денег, а это влекло за собой чрезмерное напряжение; тот, кто запрягает своего Пегаса в ярмо или подгоняет свою музу кнутом, тот столь же дорого заплатит за это, как тот, что чрез силу будет поклоняться Венере. По-моему, и Кант в преклонном возрасте, уже после того, как он стал знаменитым, переутомил себя и благодаря этому за 4 года до смерти впал во второе детство.

Каждый месяц в году оказывает особенное и непосредственное. т. е. независящее от погоды влияние на наше здоровье и вообще на все самочувствие, как физическое, так и духовное.

## **В. О нашем поведении по отношению к другим**

21) Чтобы хорошо прожить свой век, полезно запастись изрядной мерой осторожности и снисходительности; первая охраняет от вреда и потерь, вторая-от споров и ссор.

Кому приходится жить с людьми, тот не имеет права отворачиваться от той или иной индивидуальности, раз она определена и дана природой, какой бы жалкой, дурной или смешной она ни была. Надо признать ее за нечто непреложное, нечто такое, что в силу вечных, метафизических законов должно быть таким, каким оно есть; в худшем случае надо сказать себе: «и такие чудачки необходимы». Действуя иначе, человек поступает несправедливо и вызывает противную сторону на смертный бой. Ибо никто не может изменить своей индивидуальности – своего нравственного характера, умственных сил, темперамента, физиономии и т. д. Если мы осудим решительно все существо данного человека, то понятно, ему придется начать с нами безжалостную борьбу; ведь мы готовы признать за ним право на существование лишь под тем условием, чтобы он стал другим,-а измениться он не может. Поэтому, живя с людьми, мы должны признавать каждого, считаться с его индивидуальностью, какова бы она ни была, и думать лишь о том, как использовать ее, сообразуясь с ее свойствами и характером,-отнюдь не надеясь на ее изменение и не осуждая ее за то, что она такова<sup>26</sup>. Именно таков смысл слов: «leben und leben lassen» (жить и давать жить другим). Однако, это не так легко, как правильно, и счастлив тот, кому совсем не приходится сталкиваться с иными личностями.

Чтобы научиться выносить людей, надо упражнять свое терпение на неодоушевленных

---

26 Вообще разумно было почаще говорить себе: «изменить это я не могу, остается извлекать из этого пользу».



предметах, которые в силу механической, вообще физической необходимости, являются препятствием нашим намерениям,— а это встречается на каждом шагу. Выработанное таким путем терпение нетрудно перенести на людей, если освоиться с мыслью, что и они, служа помехой в наших действиях, вынуждены к этой роли в силу столь же строгой, вложенной в их существо необходимости, как та, которой подчинены неодушевленные предметы, и что поэтому так же неразумно сердиться на их поступки, как на камень, лежащий на нашем пути.

22) Удивительно, как легко и скоро сказывается в разговоре людей однородность (Homogenitat) или разнородность (Heterogenitdt), их духа и характера; это сказывается во всякой мелочи. Разговор может вестись на самую безразличную неинтересную тему, но если собеседники существенно разнородны, то почти каждая фраза одного произведет на другого более или менее неприятное впечатление, а то и рассердит его. Люди же однородные тотчас и во всем почувствуют известную общность, переходящую при совершенной однородности в полную гармонию, а то и в унисон. Этим объясняется, во-первых, почему заурядные люди так общительны и так легко находят повсюду подходящее общество—«славных, добрых». С людьми незаурядными,—наоборот: чем более они выдаются, тем они необщительнее; иногда они столь одиноки, что испытывают большую радость, найдя в другом хоть одну, хотя бы ничтожную, но однородную с их характером черточку. Один человек может значить для другого не больше, чем тот для него. Действительно великий дух парит одиноко, как орел в вышине.— Во-вторых, это объясняет еще, почему люди одних воззрений так скоро находят друг друга, словно они взаимно притягиваются какой-то силой — «рыбак рыбака видит издалека». Правда, чаще всего это можно наблюдать на людях с низкими помыслами или убогими по уму: но это только потому, что их

—легионы, тогда как натуры высшие, выдающиеся не только называются редкими, но редки на самом деле. Поэтому, напр., в каком-нибудь большом, преследующем практические цели собрании, два отъявленных мошенника с такой легкостью распознают друг друга, словно они носят особые значки, и затем вступают в союз, чтобы учинить какое-либо мошенничество или предательство. Предположим нечто немислимое — большое общество, сплошь состоящее из умных, богато одаренных людей, среди коих затесались два дурака; эти двое непременно почувствуют друг к другу сердечное влечение и каждый из них в душе будет рад, что ему удалось встретить хоть одного рассудительного человека. Весьма любопытно присутствовать при том, как двое, преимущественно из нравственно и умственно неразвитых людей, стараются сойтись поближе, спешат навстречу один другому с приятельскими, радостными приветствиями, словно они давно знакомы; это настолько поразительно, что хочется поверить — по буддийскому учению о переселении душ, что они были уже когда-то, в прежней жизни, друзьями.

Однако есть нечто, что даже при единомыслии людей способно отдалить их друг от друга и породить некоторую дисгармонию; это

— несходность в данную минуту их настроения, почти всегда различного у разных людей, в зависимости от их настоящего положения, занятия, обстановки, состояния здоровья, от хода мысли в данный момент и т. д. Все это создает диссонанс между гармонирующими в общем личностями. Уметь создавать потребный для устранения этой помехи корректив, так сказать, поддерживать в себе равномерную температуру — это под силу лишь для личности высокой культуры. Как много значит сходность настроений для единения общества, можно судить по тому, что даже многолюдное собрание оживляется горячими беседами и искренним интересом, как только что-нибудь объективное,— будь то опасность, надежда, известие, редкое зрелище, спектакль, музыка или еще что-нибудь — произведет на всех одно и то же впечатление. Такое впечатление, пересиливая все частные интересы, создает единство настроения. За отсутствием такого объективного возбудителя прибегают обычно к субъективному; нормальным средством создать во всех членах общества одинаковое настроение — служит бутылка; кофе и чай тоже пригодны для этого.

Именно эта дисгармония в обществе, столь легко создающаяся при различии в настроениях данной минуты, объясняет отчасти то, что в воспоминаниях, очищенных от этих

и им подобных, мешающих, хотя и мимолетных, влияний, каждый идеализирует, а то и возводит себя чуть ли не в святые. Воспоминание действует, как объектив в камере-обскуре: уменьшая все размеры, он дает нам образ гораздо более красивый, чем сам оригинал. Каждая наша отлучка дает нам в известной мере то преимущество, что приукрашивает нас. Хотя идеализирующее воспоминание и требует долгого времени для того, чтобы закончить создаваемый образ, но во всяком случае работа эта начинается тотчас же. Вследствие этого разумно показываться своим знакомым и добрым друзьям не иначе, как через значительный промежуток времени; тогда при встречах можно будет заметить, что память уже начала свою работу.

Никто не может видеть выше себя. Этим я хочу сказать, что человек может видеть в другом лишь столько, сколько он сам обладает, и понять другого он может лишь соразмерно с собственным умом. Если последний у него очень невелик, то даже величайшие духовные дары не окажут на него никакого действия, и в носителе их он подметит лишь одни низкие свойства, т. е. слабости и недостатки характера и темперамента. Для него этот человек только и будет состоять, что из недостатков; все его высшие духовные способности, так же не существуют для него как цвета для слепых. Любой ум останется незамеченным тем, кто сам его не имеет; всякое уважение к чему-нибудь есть произведение достоинств ценящего, умноженных на сферу понимания ценителя. Так что, говоря с кем-нибудь, всегда уравниваешь себя с ним, ибо те преимущества, какие мы имеем над ним – исчезают, и даже самое необходимое для такой беседы самоотречение остается совершенно непонятным. Если учесть как низки помыслы и умственные способности людей, насколько вообще большинство людей пошлы (*gemein*), то станет понятным, что немисливо говорить с ними без того, чтобы на время беседы – по аналогии с распределением электричества – самому стать пошлым; лишь тогда мы уясним себе вполне истинный смысл и правдивость выражения *sich gemein machen* – становится пошлым, но тогда будем уже избегать всякого общества, с которым приходится соприкасаться лишь на почве самых низких свойств нашей природы. Нетрудно убедиться, что существует лишь один способ показать дураками и болванами свой ум: – не разговаривать с ними. Правда, что тогда многие окажутся в обществе в положении танцора, явившегося на бал, и нашедшего там лишь хромых – с кем тут танцевать?

24) Я дарю свое уважение тому человеку, готов назвать избранным того, кто, будучи незанят, ожидая чего-либо, не примется барабанить и постукивать всем, что только попадется ему в руки – палкой, ножиком, вилкой, еще чем-нибудь; это покажет мне, что он размышляет. Но, по-видимому, у многих людей зрение всецело заменило собою мышление: они стараются познать свою жизнь посредством постукивания, – если в данный момент нет сигары, отвечающей этой же цели. По той же причине они постоянно вслушиваются и вглядываются во все, что происходит вокруг.

25) Ларошфуко очень метко заметил, что трудно глубоко уважать и вместе с тем сильно любить кого-нибудь. Следовательно, остается выбирать, помогать ли нам любви или уважения людей. Любовь их всегда корыстна, хотя и на разные лады. К тому же, способы ее приобретения не всегда таковы, чтобы ими можно было гордиться. Человека обычно любят тем больше, чем более низкие требования он предъявляет к уму и к душе других, притом серьезно, а не из лицемерия, и не силу той снисходительности, какая вытекает из презрения. Если вспомнить правильное изречение Гельвеция: «количество ума, необходимое для того, чтобы нам понравиться – точный показатель той степени ума, какой обладаем мы сами» – тогда из этой посылки вывод станет ясным сам собою. – Не так обстоит дело с людским уважением; его приходится завоевывать против их воли потому-то его так часто скрывают. Оно дает нам гораздо большее внутреннее удовлетворение, ибо связано с ценностью нашей личности, чего нельзя сказать про людскую любовь: любовь субъективна, уважение же – объективно. Правда, что зато любовь людей приносит нам больше пользы.

26) Большинство людей настолько субъективны, что в сущности, их не интересует никто, кроме самих себя. Из этого получается, что о чем бы ни зашла речь, они начинают

думать о себе; любая тема, если она имеет хотя бы случайное, весьма отдаленное отношение к их личности, до такой степени овладевает их вниманием, что они не в силах понять и судить об объективной стороне дела; точно так же они вовсе не слушают никаких доводов, раз эти последние противоречат их интересам или тщеславию. Потому-то они так часто рассеянны, так легко обижаются и оскорбляются, что беседуя с ними объективно о чем бы то ни было, невозможно предусмотреть всего, что может иметь какое-либо отношение, – притом, пожалуй, невыгодное – к тому драгоценному и нежному «я», с которым имеешь дело; кроме своего «я» все остальное их вовсе не касается; не понимая правдивости, меткости, красоты, тонкости или остроумия чужой речи, они высказывают утонченнейшую чувствительность ко всему, что хотя бы самым отдаленным, косвенным путем может задеть их мелочное тщеславие, вообще выставить в невыгодном свете их драгоценное «я». С этой обидчивостью они походят на маленьких собачек, которым так легко нечаянно наступить на лапу, отчего те поднимают отчаянный визг, – или же на больного, покрытого ранами и опухольями, к которому совершенно нельзя прикоснуться. У иных дело доходит до того, что высказать, а то даже просто не суметь скрыть в беседе с ними свои достоинства и свой ум – значит нанести им оскорбление; правда, сначала они скрывают свою обиду, и только позже неопытный собеседник их тщетно будет ломать себе голову, стараясь понять, чем он мог навлечь на себя их гнев и обидеть их. – Зато так же легко расположить к себе путем лестии. Поэтому их суждения – нередко следствие подкупа

– всегда в пользу их партии или класса и никогда не бывают объективными и справедливыми. Все это обуславливается тем, что в них воля значительно преобладает над сознанием, и их убогий ум совершенно подчинен ей и не может ни на минуту освободиться от этой подчиненности.

Жалкая субъективность людей, вследствие которой они все сводят на себя и из любой идеи прямым путем возвращаются опять-таки к себе, – великолепно подтверждается астрологией, приурочивающей движение огромных космических тел к жалкому человеческому «я», и ставящей появление комет в связь с зелеными раздорами и гнусностями. А это практиковалось всегда, даже в древнейшие времена (см. Stob. Eccllog., L. I, с. 22, 9).

27) Не следует приходить в отчаяние при каждой бессмыслице, сказанной в обществе и среди публики, или напечатанной и хорошо принятой, или хотя бы только непровергнутой: не следует думать, что это навсегда так и останется; утешимся уверенностью, что впоследствии, со временем, данный вопрос будет освещен, обдуман, взвешен, обсужден и правильно решен в конце концов: – что после известного срока, более или менее продолжительного, смотря по трудности вопроса, почти все усвоят то, что высокому уму было ясно сразу же. Тем временем приходится, однако, ждать; ясный ум среди глупцов подобен человеку, у которого часы идут правильно, тогда как все городские часы поставлены неверно. Он один знает настоящее время, но что ему от этого? – весь город живет по неверно поставленным часам, в том числе даже тот, кто знает, что только его часы показывают верное время.

28) Люди тем похожи на детей, что становятся непослушными, если их балуют: поэтому ни с кем не следует быть слишком уступчивым, слишком добрым. Точно так же как мы едва ли потеряем друга, если откажемся дать ему в долг, и весьма вероятно лишимся его, если снизойдем к этой его просьбе, – так мы не потеряем его, если отнесемся к нему свысока и несколько пренебрежительно, тогда как слишком большая дружба и предупредительность легко могут сделать его крайне дерзким и вызвать разрыв. Особенно людям трудно переваривать сознание того, что в них нуждаются: неизменным следствием этого сознания являются высокомерие и требовательность. У иных эта мысль зарождается на основании того только, что вы с ним водитесь и ведете частые откровенные беседы, они начинают думать, что у них есть какие-то права на вас и пробуют расширить рамки вежливости. Потому-то очень немногие пригодны к более близкому общению с ними; особенно следует остерегаться фамильярности с низкими личностями. Если же человек вообразит, что он мне

гораздо нужнее, чем я ему, то он испытывает такое чувство, словно я у него что-то украл; он будет стараться отомстить мне и вернуть украденное. – В жизни превосходство может быть приобретено лишь тем, что человек ни в каком отношении не будет нуждаться в других и открыто станет показывать это. С этой целью следовало бы время от времени давать понять каждому, – будь то мужчина или женщина, – что мы можем прекрасно обойтись без них; это укрепляет дружбу; в большинстве случаев не помешает, если примешивать изредка в отношения к людям маленькую долю презрения: – тем дороже станет для них наша дружба; «чем меньше уважаешь других, тем больше они будут уважать тебя» – говорит остроумная итальянская поговорка. Если же среди нас есть человек действительно выдающихся достоинств, то почему-то не полагается говорить ему этого, словно это какое-то преступление. В этом мало утешительного, но это так. Даже на собаках плохо отзывается большая дружба, – о людях и говорить нечего.

29) Что благородные, высоко одаренные натуры высказывают, особенно, в юности, поразительное отсутствие знания людей и житейского разума, и вследствие этого так легко вдаются в обман и ошибаются, тогда как низшие натуры гораздо скорее и лучше изворачиваются в жизни, – это обусловлено тем, что при недостатке опытности приходится судить *a priori*, а этот метод, конечно, не может идти в сравнение с опытным путем. Основной, исходной точкой для априорных суждений является у заурядных людей их собственное «я»; натуры же возвышенные и выдающиеся не могут отпавляться от своего «я», ибо оно-то именно и отличает их так резко от других людей. Руководствуясь в суждениях о чужих мыслях и поступках собственными мыслями и поступками, они, понятно, приходят к неверным выводам.

Даже если такой человек *a posteriori*, т. е. наученный собственным опытом и другими, узнает, наконец, чего можно ждать от людей вообще, поймет, что приблизительно 5/6 из них в моральном и интеллектуальном отношении таковы, что если внешние обстоятельства не принуждают поддерживать с ними сношения, то лучше всего избегать их, никоим образом не соприкасаться с ними, – то все же едва ли он составит исчерпывающе полное представление об их мелочности и ничтожестве; ему придется в течение всей дальнейшей жизни постоянно пополнять свои знания в этом отношении, нередко ошибаясь в расчетах в ущерб себе. Даже когда он проникнется усвоенными знаниями, все же иногда, попадая в общество незнакомых людей, он будет удивлен тем, что судя по их манерам и речам все они кажутся весьма рассудительными, честными, откровенными, добродетельными, а то и разумными и интеллигентными. Но это не должно вводить его в заблуждение: причина этому та, что природа действует иначе, нежели плохие писатели, которые, желая изобразить мошенника или дурака, рисуют его так преднамеренно, такими грубыми штрихами, что за каждым таким типом сразу же видна личность самого автора, постоянно разоблачающего его помыслы и речи, и громко предостерегающего: «это мошенник, дурак; не верьте его словам». Природа поступает иначе – как Гете и Шекспир, у которых каждое действующее лицо, будь это хоть сам дьявол, является вполне правым в том, что говорит; эти лица схвачены столь объективно, что мы поневоле вовлекаемся в их интересы и принимаем участие в них; каждая такая личность развивалась, как всякое творение природы, по внутреннему закону, в силу которого все ее речи и поступки являются естественными и необходимыми. – Тот, кто будет полагать, что черти гуляют по свету с рогами, а дураки – с бубенчиками, – непременно станет их добычей или игрушкой. Надо прибавить, что люди в общежитии подражают луне и горбатым, которые поворачиваются всегда одной стороной, у каждого человека есть прирожденный талант путем мимики превращать свое лицо в маску, весьма точно изображающую то, чем он должен был быть на самом деле; маска эта, выкроенная исключительно по его индивидуальности, так точно прилажена, так подходит к нему, что получается полная иллюзия. Ее надевают тогда, когда надо к кому-нибудь подольститься. Но доверять ей следует не больше, чем обыкновенной полотняной маске, памятуя великолепную итальянскую поговорку: «как бы зла ни была собака, она всегда виляет хвостом».

Во всяком случае надо остерегаться оставлять очень хорошее мнение о человеке, с

которым мы только что познакомились; в противном случае мы, по всем вероятностям, разочаруемся к собственному стыду, а то и ущербу. При этом надо учесть следующее: истинный характер человека сказывается именно в мелочах, когда он перестает следить за собою: вот тут-то в разных маленьких делах, можно удобно наблюдать хотя бы по одним манерам, тот безграничный, ни с чем не считающийся эгоизм, который, если и не отсутствует, но зато бывает скрыт в крупных и важных делах. Не следует упускать таких случаев для наблюдения. Если человек не считается ни с чем, кроме себя, в мелких, обыденных делах и житейских отношениях, вообще в вопросах, к которым применима норма: «*de mini mis Lex non curvt*» («закон не заботится о мелочах»), если он ищет только своей выгоды, своего удобства, хотя бы в ущерб другим, если он присваивает то, что предназначено для всех, и т. д. – то можно быть уверенным, что ему чужда всякая справедливость, что он и в крупных делах будет мошенничать, если его руки не будут связаны законом или силою; в дом к себе его нельзя пускать. Тот кто спокойно нарушает законы своего клуба, тот может нарушать и государственные законы, раз только это не будет опасно<sup>27</sup>.

Если человек более или менее нам близкий сделает нам что-либо неприятное или досадное, то следует спросить себя, настолько ли он нам дорог, чтобы мы могли и хотели перенести с его стороны то же самое, даже нечто большее, притом не раз и не два, а много чаще, – или нет? (Простить, забыть что-либо – значит, выбросить за окно весь приобретенный драгоценный опыт). В случае утвердительного ответа много говорить не приходится, так как словами тут ничего не поделаешь; но если мы решимся забыть этот поступок, разве что обсудив его, – а то и не обсуждая, – то должны понимать, что этим мы добровольно подвергаем себя повторению того же самого. В случае отрицательного ответа нам следует тотчас же и навсегда порвать с дорогим, может быть, другом, если же то слуга – удалить его. Ибо, если встретится случай, он непременно повторит то же самое или что-нибудь подобное, даже если теперь он стал бы горячо и искренне уверять нас в обратном. Решительно все может забыть человек, но только не самого себя, не свое существо. Характер человека абсолютно неисправим, ибо все его действия вытекают из некоего внутреннего начала, в силу которого он при одинаковых условиях всегда должен будет поступить так же и иначе не может. Прочтите мое премированное исследование о свободе воли, и отбросьте эту иллюзию. Потому-то примирение с другом, с которым все было порвано – это слабость, которая искупится тогда, когда он при первом же случае учинит с нами точь-в-точь то же самое, что привело к разрыву, да еще, пожалуй, с большей наглостью в виду сознания, что без него нам не обойтись. То же применимо к слугам, которых мы удалили и потом снова берем к себе. По той же причине нельзя ожидать, чтобы человек при изменившихся обстоятельствах поступал бы так же, как и раньше. Образ мыслей и поведение людей меняются так же часто, как их интересы; намерения людей гарантированы на столь краткие сроки, что надо быть крайне близоруким, чтобы полагаться на них.

Предположим, что нам желательно узнать, как поступит человек в известном положении, в какое мы намерены его поставить; при этом ни в коем случае нельзя основываться на его уверениях и клятвах. Предположим даже, что он говорит искренно, но ведь говорит-то он о том, чего не знает сам. Поэтому приходится выводить его действия лишь из совокупности условий, в какие он попадет, и из конфликта их с его характером.

Чтобы приобрести столь необходимое, ясное и глубокое понятие об истинных, весьма плачевных свойствах большинства людей, – было бы весьма назидательно пользоваться их трудами и поведением в литературе в качестве комментария к их образу действий и поведению в практической жизни, – и наоборот. Это много послужит к тому, чтобы не

---

27 Если бы у большинства людей добро преобладало над злом, тогда было бы разумнее полагаться не на их страх, а на справедливость, честность, благородность, родство, верность, любовь или жалость, но так как на деле бывает обратное, то разумнее поступать наоборот.

ошибаться ни в самом себе, ни в других. Но при этом свойственная им феноменальная низость или глупость, проскользнувшая в их деятельности или в литературных трудах, должна не вызывать в нас досаду или злобу, а лишь служить материалом к познанию; в ней мы должны видеть лишь добавление к характеристике человеческого рода, добавление весьма ценного свойства. Тогда мы станем рассматривать эти свойства приблизительно так, как минералог рассматривает характерный образчик какого-либо минерала. Конечно, бывают исключения, иногда чрезвычайно резкие, и различие между личностями иногда весьма значительно; но, как уже давно замечено, мир, взятый в общем, – крайне плох: дикари друг друга едят, культурные люди – обманывают, – и это называется течением жизни. Что такое государство с его искусственными, направленными наружу и внутрь аппаратами и репрессивными средствами, – как не мера к ограничению безграничной людской неправды? Из истории всех времен мы видим, что каждый король, если он держится прочно и страна более или менее благоденствует, пользуется этим для того, чтобы наброситься со своим войском, как с разбойничьей шайкой, на соседние земли – ведь все почти войны в конце концов – разбой. В глубокой древности и частью еще в Средние века побежденные делались рабами победителей, т. е. должны были работать на них; но ведь, в сущности, те, кто платит контрибуцию – вынуждаются к тому же: они отдают плоды своих прежних работ. «Во всех войнах суть заключается в грабеже» – сказал Вольтер, и немцам это следовало бы запомнить.

30) Нет такого характера, который можно было бы предоставить всецело самому себе, дав ему полную свободу; каждая личность нуждается в руководстве понятий и правил. Но если слишком далеко зайти по этому пути, вплоть до создания искусственного, всецело выработанного собственными силами характера, который, следовательно, будет вытекать не из врожденных свойств, а из обдуманного расчета, – то мы вскоре убедимся в справедливости латинской пословицы: «прогоняйте природу – она все равно вернется». Можно, напр., очень хорошо усвоить то или иное правило поведения по отношению к другим, можно даже самому открыть его и прекрасно формулировать, но в действительной жизни мы первые его нарушим. Однако не следует из-за этого падать духом и полагать, что раз нельзя вести свои сношения с людьми по абстрактным правилам и принципам, то поэтому лучше всего отдаться на волю судьбы. Здесь дело обстоит как со всеми теоретическими правилами: первое – это понять правило, второе – научиться его применять. Первое достигается разумом и сразу, второе – опытом и постепенно. Ученику показывают клавиши инструмента, парады и выпады в фехтовании,

– и несмотря на все его старания ему сперва ничего не удастся и даже кажется, что немислимо соблюдать эти правила при быстрой игре или в пылу боя. Но понемногу он научается им путем упражнения, делая ошибки, падая, вновь вставая. Точно так же обстоит дело с правилами латинской грамматики; этим же путем неуклюжий превращается в придворного, сорвиголова – в выдержанного светского человека, открытый характер становится замкнутым, а благородный – ударяется в иронию. Однако такое самообразование, добытое путем долгого привыкания, всегда сохранит характер извне идущего принуждения, которому наша натура всегда, хотя и слабо, а будет сопротивляться, а иногда и преодолет его. Всякое поведение, вытекшее из абстрактного правила, относится к поведению, вытекшему из первичных, врожденных склонностей так, как искусственное произведение, напр., часы, в коих материи навязаны несвойственные ей форма и движение, – к живому организму, в котором и форма, и материя проникают одна в другую и составляют одно. Это отношение приобретенного характера к врожденному подтверждается изречением Наполеона: «все, что неестественно – несовершенно». Вообще изречение это оправдывается всюду и всегда, и в физических и в моральных вопросах; единственное, приходящее мне на ум исключение – это известный минералогам естественный авантюрин, который хуже поддельного.

Надо избегать какой бы то ни было аффектации. Она всегда вызывает презрение, во-первых, в качестве обмана, который сам по себе трусость, ибо обусловлен боязнью, и, во-вторых, в качестве самоосуждения: – человек старается казаться не самим собою, а чем-то

другим, а, следовательно, это другое он считает лучшим себя. Аффектирование какого-либо качества, хвастовство им – это признание самому себе, что не обладаешь им. Хвастается ли человек храбростью, ученостью, умом, остроумием, успехом у женщин, богатством, знатностью рождения или еще чем-нибудь, – все это свидетельствует, что именно этого-то ему и не хватает; кто действительно обладает каким-либо достоинством, тому и в голову не придет выказывать, аффектировать его – он совершенно спокоен на этот счет. Именно таков смысл испанской пословицы: «раз подкова бренчит, значит в ней не хватает гвоздя». Правда, как сказано выше, никто не должен раскрываться и выказывать всего себя; многие дурные и животные свойства нашей природы должны быть скрыты; однако, это узаконивает лишь отрицательную скрытность, а не положительную симуляцию. – Надо помнить к тому же, что аффектация разоблачается раньше даже, чем выяснится, что именно аффектировал человек. Долго она все равно не продержится: маска когда-нибудь да спадет. «Никто не может долго притворяться; всякий притворяющийся скоро выкажет свою истинную натуру» (Sen. de Clem., L. I, c. 1).

31) Так же, как тяжесть собственного тела мы носим, не чувствуя ее, и ощущаем вес постороннего невесомого тела, – так мы не замечаем собственных ошибок и пороков, а видим чужие. Зато каждый имеет в лице другого зеркало, в котором ясно видны его собственные пороки, ошибки и недостатки разного рода. Но человек обычно поступает, как собака, лающая на зеркало, не зная, что в нем отражается она сама, и полагая, что там другая собака. Тот, кто критикует других, работает над собственным совершенствованием. Следовательно, те, кто склонен и подвергать мысленно, наедине с собою внимательной и строгой критике внешний образ действий и вообще все поведение других – трудятся этим путем над собственным исправлением: в них найдется, наверное, достаточно справедливости или хоть гордости и тщеславия, чтобы самим избегать того, что они так строго порицали в других. Про снисходительных следует сказать обратное: «они поочередно то прощают, то просят прощения». В евангелии есть отличная притча о сучке в чужом глазу и о бревне в собственном; но ведь сама природа глаза такова, что он смотрит наружу, а не внутрь; во всяком случае замечать и порицать чужие ошибки – это весьма действительное средство к тому, чтобы сознать свои собственные; чтобы исправиться, нам нужно зеркало.

Это правило применимо к стилю и к манере письма; кто восхищается какой-либо новой глупостью, примененною в этой области, вместо того, чтобы осудить ее, тот, наверное, сам ее переймет. В Германии такие глупые приемы перенимаются очень быстро; немцы вообще терпимы, – их девиз – «поочередно то прощать, то просить прощения».

32) Благородный человек в юности верит, что важнейшие отношения и вытекающие из них сношения людей между собой – идейны, т. е. основаны на единстве характера, образа мыслей, вкуса, духовных сил и т. д.; уже позже он узнает, что отношения эти реальны, т. е. опираются на те или иные материальные интересы, лежащие в основе почти всех сношений, большинство людей и представить себе иных отношений не может. Вследствие этого человека ценят по его должности, занятию, национальности, по его семье, т. е. по положению и роли, предоставленной ему житейской условностью; сообразно с этим его сортируют и оценивают «по-фабричному». Напротив, то, что он за человек сам по себе, по своим личным качествам – на это смотрят лишь когда это нужно, т. е. крайне редко, ибо в большинстве случаев для людей выгоднее отстраняться от этого вопроса, игнорировать его. Но чем больше внутренняя ценность человека, тем меньше нравится ему такой порядок, и он постарается уйти из сферы его действия. Порядок этот обусловлен тем, что в этом свете средства избежать нужды и горя являются самым существенным, самым важным в жизни.

33) Как бумажные деньги обращаются вместо серебра, так в жизни вместо истинного уважения и истинной дружбы курсируют внешние их изъявления, по возможности ловкое подражание им посредством слов и мимики. Правда, еще вопрос, существуют ли люди, действительно их заслуживающие. Во всяком случае я предпочту виляние честной собаки хвостом целой сотне подобных изъявлений дружбы и уважения.

Истинная, подлинная дружба предполагает горячее, чисто объективное, совершенно

незаинтересованное участие в радостях и горе друга, а это участие – полное отождествление себя с ним. Этому настолько противится эгоизм человеческой природы, что истинная дружба принадлежит к числу вещей, о которых, как о морских змеях, мы не знаем, вымышлены ли они или существуют на самом деле. Однако, встречаются иногда отношения, которые, хотя и покоятся главным образом на различного рода скрытых эгоистических мотивах, но все-таки содержат в себе крупицу истинной, неподдельной дружбы, облагораживающей их настолько, что в этом мире несовершенств они могут с некоторым правом называться дружбой. Они резко выделяются над обыденными отношениями, которые обыкновенно таковы, что с большинством наших добрых знакомых мы перестали бы разговаривать, если бы услышали, как они отзываются о нас за глаза.

Лучшее – после случаев, когда требуются серьезная помощь и значительные жертвы, – средство испытать верность друга представляется в тот момент, когда рассказываешь ему о несчастье, только что поразившем нас. Или на его лице отразится истинное, глубокое огорчение, или же невозмутимое спокойствие его лица, а то и мелькнувшее на нем постороннее выражение подтвердят известное изречение Ларошфуко: «в несчастьи наших лучших друзей мы всегда находим что-нибудь такое, что нам не неприятно». Обычные, «так называемые» друзья еле могут подавить в таких случаях легкую довольную улыбку. – Очень немного может столь безошибочно привести людей в хорошее настроение, как рассказ о значительном несчастье, недавно нас постигшем, или откровенное признание в какой-либо личной слабости. – Характерно!

Как ни трудно в этом признаться, но разлука, долгое отсутствие наносят ущерб всякой дружбе. Люди, которых мы не видим, будь это хоть ближайшие друзья, «высыхают» с течением лет в нашей памяти в абстрактные понятия, в силу чего наше участие к ним все более и более становится только рассудочным, длящимся лишь в силу привычки; участие живое и глубокое остается на долю тех, кто у нас перед глазами, хотя бы то были любимые животные. Насколько подчинен человек внешним чувствам! Здесь оправдываются слова Гете (Tasso 4, с.4):

«Настоящее – могущественное божество».

Друзья дома большею частью вполне заслуживают свое название, так как они действительно больше привязаны к дому, нежели к хозяину, в этом отношении они больше похожи на кошек, чем на собак.

Искренно друзья только называют себя друзьями; враги же искренни и на деле; поэтому их хулу следует использовать в целях самопознания, так как мы принимаем горькое лекарство.

Будто так трудно найти друга в нужде? Наоборот: едва мы успели подружиться с кем-нибудь, он тотчас же оказывается в нужде и уже целится перезанять у нас.

34) Как наивен тот, кто мнит, будто выказать ум и предрассудок – это хорошее средство к тому, чтобы нравиться в обществе. Напротив, в подавляющем большинстве людей эти свойства возбуждают только ненависть и злобу, тем более горькую, что они не дерзают открыто указать на ее причину, которую они стараются скрыть даже от самих себя. Происходит это следующим образом. Если кто-либо замечает и чувствует значительное духовное превосходство в том, с кем он разговаривает, то он делает про себя и не вполне сознательно вывод, что его собеседник в такой же мере заметил и ощутил ограниченность его ума. Это предположение вызывает в нем горькую злобу и ненависть (см. Мир как воля и представление, т. II, цитированные слова д-ра Джонсона и Мерка – друг юности Гете). Грациан справедливо заметил (*opaculo manual y arte prudencia* 240): «единственное средство достичь полного спокойствия – это облечься в шкуру скромнейшего животного». Выказывать свой ум и разум – это значит косвенным образом подчеркивать неспособность и тупоумие других. К тому же пошлая натура всегда возмущается при виде своего антипода и роль подстрекателя в этом возмущении играет зависть. На каждом шагу можно наблюдать, что удовлетворение тщеславия – наивысшее наслаждение для людей, но возможно оно лишь через сравнение себя с другими.



Никакими достоинствами человек не гордится так, как духовными, так как только ими обусловлено превосходство над животными<sup>28</sup>. Выказать свое решительное превосходство над ним в этом отношении, вдобавок, при свидетелях, – это, конечно, величайшая дерзость, требующая отпущения; оно, вероятно, и станет искать случая отметить нам посредством оскорбления, перейдя таким образом из области разума в область воли, где нет ни умных, ни неумных. Поэтому, в то время, как сословие и богатство всегда могут рассчитывать на уважение общества, – духовные достоинства не могут и надеяться на это; в лучшем случае их игнорируют, иначе же на них смотрят как на своего рода нахальство или как на нечто, приобретенное недозволенным путем, чем обладатель к тому же дерзает гордиться; за это каждый желал бы как-нибудь его унижить и ждет только удобного случая. Едва ли даже самым скромным, тихим поведением удастся вымолить прощение за свое духовное превосходство. Сади говорит, что в Гулистане (пер. Графа, стр. 146): «Знайте, что неразумный питает в сто раз больше ненависти к разумному, чем этот – к нему». Напротив, духовная ограниченность – это отличная рекомендация. То, что для тела теплота, то для духа – ощущение своего превосходства, и поэтому каждый стремится приблизиться к субъекту, вызывающему это ощущение, – притом столь же инстинктивно, как к печке, или к солнечный свет. Ощущение это доставит для мужчины тот, кто ниже его по духовным качествам, для женщины – та, кто уступает ей в красоте. Выказать пред иными людьми, хотя бы и неприятно, что уступаешь им по духу

– не так-то легко. Напротив, недурная девушка часто с сердечнейшей приязнью относится к ужаснейшему уроду. Физические достоинства в мужчине не очень важны, хотя, правда, что приятнее беседовать с тем, кто ниже нас ростом, чем с тем, кто выше. Мужчинам нравятся глупые и невежественные, женщинам – дурные собой; этим последним приписывают обычно доброе сердце; ведь всегда необходимо как-нибудь обосновать пред другими и пред самим собою свою симпатию. Именно поэтому всякое духовное преимущество является изолирующим свойством; его ненавидят, избегают и в свое оправдание наделяют его обладателя всякими недостатками<sup>29</sup>. – Точно такую же роль играет у женщин красота: очень красивые девушки не находят себе не только подруг, но и приятельниц. Места компаньонки им и искать не стоит: при первом же их появлении лицо хозяйки дома хмурится: ей нет никакого расчета оттенять чужую красотой безобразие своих дочерей или собственное. – Совершенно иначе обстоит дело с преимуществами в чине, ибо они, в отличие от личных достоинств влияют не в силу контраста, а подобно тому, как цвет окружающего влияет на лицо, т. е. путем отражения.

35) В нашем доверии к людям главную роль весьма часто играют леность, себялюбие и тщеславие; леность – тогда, когда, не желая собственными силами исследовать, следить или делать что-либо, – мы предпочитаем верить другому; себялюбие – когда потребность говорить о наших личных делах вынуждает нас исповедаться; тщеславие – когда дела наши таковы, что мы ими гордимся. – И тем не менее мы требуем, чтобы наше доверие ценили!

Наоборот – не следовало бы сердиться на недоверие: ведь недоверие – это апофеоз честности, искреннее признание ее чрезвычайной редкости, вследствие коей она принадлежит к числу вещей; в существовании которых люди сомневаются.

---

28 Можно сказать, что волю человек дал сам себе, ибо воля – это он сам; разум же – благо, дарованное ему небом вечною, таинственною судьбою, необходимостью, в руках которой человек – игрушка.

29 Лучшим средством проложить себе дорогу в жизни являются дружба и товарищи, но большие способности делают нас гордыми и потому малопригодными к тому, чтобы льстить тем, у кого эти способности ничтожны, пред коими приходится поэтому скрывать свое преимущество, отречься от него. Обратным образом влияет сознание небольших способностей; оно отлично уживается с приниженностью, общительностью, любезностью, уважением к дурному и доставляет, следовательно, друзей и покровителей. Сказанное относится не только к государственной службе, но и к почетным должностям, даже к ученой славе; в академиях, напр., все верхи заняты милой посредственностью, заслуженные же люди попадают туда очень поздно, или никогда, впрочем – это всюду так.

36) Одну из основ вежливости – главной китайской добродетели – я указал в моей «Этике»; другая основа ее заключается в следующем. – Вежливость – это молчаливое соглашение игнорировать и не подчеркивать друг в друге моральную и умственную нищету, благодаря чему эти свойства к обоюдной выгоде несколько ступшеваются.

Вежливость – это благоразумие; следовательно, невежливость – глупость; без нужды, из одной удали наживать себе ею врагов – это такое же безумие, как поджечь собственный дом. Вежливость – подобно жетонам в игре – заведомо фальшивая монета; скупиться на нее – значит выказать свою глупость, щедро раздавать ее – вполне разумно. У всех наций письма кончаются: – *votre tris humble serveteur – your most obedient servant – suo devotissimo servo* – одни немцы пропускают слово «слуга», говоря, что это, дескать, ложь. – Кто, однако, доводит вежливость до того, что жертвует ради нее реальными интересами, тот подобен тому, кто стал бы настоящие золотые менять на жетоны. – Как воск, твердый и ломкий по природе, становится в тепле столь мягким, что способен принять любую форму, так и самых угрюмых, сердитых людей можно посредством вежливости и любезности сделать сговорчивыми и веселыми. – Словом, – вежливость для человека – это то же, что тепло для воска.

Правда, быть вежливым – задача трудная в том отношении, что приходится выказывать величайшее почтение ко всем людям, из коих большинство этого не заслуживает, и симулировать живейшее участие в них, в то время как нам хотелось бы вовсе о них не думать. Сочетать вежливость с гордостью – это величайшее искусство.

Нас гораздо меньше возмущали бы оскорбления, сводящиеся всегда, в сущности, к изъявлению неуважения, если бы, с одной стороны, мы не имели преувеличенного представления о наших достоинствах и ценности, т. е. не были бы непомерно горды, и с другой – дали бы себе отчет, как каждый в глубине души думает обычно о других и ценит их. Какой резкий контраст получился бы между щепетильностью большинства в отношении самых слабых намеков на критику их действий, и тем, что они слышали бы, подслушав разговоры добрых знакомых! – Следовало бы помнить, что обычная вежливость – это только улыбающаяся маска; тогда мы не поднимали бы скандала каждый раз, как она сдвинется или будет снята на минуту; и что если человек становится грубым, то этим он только скидывает одежду и показывается в естественном виде. Правда, как и большинство нагих людей, он будет выглядеть весьма неприглядно, 37) Не следует брать во всех своих действиях примеры с других, так как положение, обстоятельства и отношения никогда не бывают тождественны, и различия в характере придают разный оттенок поступкам; потому, «когда двое поступают одинаково – получается все-таки не одно и то же». Следует по зрелом размышлении и основательном обсуждении, действовать сообразно со своим характером. Оригинальность необходима даже в практической жизни: иначе наши действия не будут отвечать тому, чем мы являемся на самом деле.

38) Не следует оспаривать чужих мнений: надо помнить, что, если бы мы захотели опровергнуть все абсурды, в какие люди верят, то на это не хватило бы и Мафусаилова века.

Следует воздерживаться в беседе от всяких критических, хотя бы и доброжелательных замечаний: обидеть человека – легко, исправить же его – трудно, если не невозможно.

Если бессмыслицы, какие нам приходится выслушивать в разговоре, начинают сердить нас, надо вообразить, что это разыгрывается комическая сцена между двумя дураками; это испытаннейшее средство. – Кто явился на свет с целью серьезно поучать людей великим истинам, тот может считать себя счастливым, если останется цел.

39) Кто хочет, чтобы его мнение было принято, должен высказывать его спокойно и беспристрастно. Ибо всякая страстность вытекает из воли и ей именно, а не разуму, холодному по своей природе, припишут это мнение. Так как главное в человеке – воля, разум же – вторичен, произволен, то скорее подумают, что данное суждение вытекло из возбуждения воли, чем то, что это возбуждение обусловлено данным суждением.

40) Не следует хвалить самого себя, даже если имеешь на это полное право. Ибо тщеславие так заурадно, а заслуга – столь исключительная вещь, что как только людям

покажется, будто мы, хотя бы косвенно, хвалим себя, – каждый готов прозакладывать сто против одного, что в нас говорит тщеславие, у которого не хватает разумности понять смешную сторону хвастовства. Однако, при всем том Бэкон Веруламский был, пожалуй, прав, говоря, что как от клеветы, так и от хвастовства «всегда что-нибудь да останется» и потому советовал пользоваться им в умеренной дозе.

41) Если подозреваешь кого-либо во лжи, притворись, что веришь ему; тогда он наглеет, лжет грубее и попадает. Если в его словах проскользнула истина, которую он хотел бы скрыть, – притворись неверящим; подстрекаемый противоречием, он выскажет и остальную часть скрываемой истины.

42) На все наши личные дела следует смотреть, как на тайны; надо оставаться совершенно неизвестным для своих знакомых за пределами того, что они сами видят. Осведомленность их в невиннейших вопросах может когда-нибудь, при случае оказаться для нас весьма невыгодной.

Вообще, лучше обнаруживать свой ум в молчании, нежели в разговорах. Молчание присуще благоразумию, слова – тщеславию. Случаи к тому и другому одинаково часты; но мы часто предпочитаем мимолетное удовлетворение, доставляемое словами, той прочной пользе, какую приносит молчание. Следовало бы даже отказывать себе в том облегчении, какое для живых людей доставляет разговор с самим собой вслух, – дабы это не вошло в привычку; ведь этим путем мысль так сближается, сродняется со словом, что и разговор с другими постепенно переходит в мышление вслух; благоразумие же требует, чтобы между нашими думами и нашими речами всегда была непроходимая пропасть.

Иногда мы полагаем, что другие абсолютно не могут поверить чему-либо, касающемуся нас, на самом же деле они в этом не сомневаются; если же мы сами постараемся навести на это их подозрение, тогда они, наверное, этому не поверят. Часто мы выдаем себя лишь тем, что полагаем, будто этого невозможно не заметить; так же, как мы бросаемся с высоты благодаря головокружению, т. е. рассчитывая, что тут невозможно надолго удержаться, а сохранять равновесие – это такая тяжелая попытка, что ее лучше прекратить, хотя бы кинувшись вниз.

С другой стороны, следует знать, что люди, даже те, которые вообще не отличаются особенной проницательностью, великолепно разбираются в чужих личных обстоятельствах, и способны при одной только данной решать самые запутанные задачи. Так что, если расскажешь им какое-либо случившееся событие, выпуская все имена и другие указания на действующих лиц, то надо остерегаться и не включать в рассказ какого-нибудь положительного и специфического обстоятельства, как бы ничтожно оно ни было, напр., не указывать места, времени или имени какого-либо побочного лица или еще чего-нибудь, что может находиться в непосредственной связи с самим событием: этим мы даем им известную положительную величину, из которой их математическая проницательность сумеет вывести и все остальное. Любопытство возбуждается при этом так сильно, что воля с его помощью подчиняет себе и подгоняет разум, который и добивается решения самых трудных задач. Насколько люди невосприимчивы и равнодушны к общим истинам, настолько же они жадны до индивидуальных явлений.

По этим-то причинам молчание настойчиво рекомендовалось всеми учителями житейской мудрости, приводившими в его защиту разнообразнейшие аргументы. Поэтому я могу ограничиться вышесказанным; приведу лишь несколько арабских изречений, особенно метких и к тому же мало кому известных. «Чего не должен знать твой враг, – того не говори и другу». «Пока я скрываю свою тайну, – она моя пленница; как только я ее выдам, я становлюсь ее пленником». «Плод дерева молчания – мир».

43) Лучше всего помещены те деньги, которые у нас украдены: ведь мы за них непосредственно приобрели благоразумие.

44) Не следует по возможности ни к кому питать неприязни, но зато хорошенько примечать и хранить в памяти поступки каждого, чтобы сообразно с ними определить его ценность, хотя бы по отношению к нам, и согласовать с этим наше поведение и обращение с

ним, – всегда памятуя о неизменяемости характера: забыть какую-либо скверную черту человека – это все равно, что выбросить трудом добытые деньги. – Таким образом мы избежим глупой доверчивости и неразумной дружбы.

«Ни любить, ни ненавидеть» – такова первая половина житейской мудрости; вторая ее половина: «ничего не говорить и никому не верить». Правда, что охотно отвернешься от того мира, который вызывает необходимость в этих, а равно и в последующих правилах.

45) Обнаруживать злобу или ненависть словами или выражением лица – бесполезно, опасно, неразумно, смешно и, наконец, пошло. Злобу или ненависть нельзя обнаружить иначе, как действием. Это удастся тем лучше, чем основательнее мы воздерживались от первого. Ядовитыми бывают лишь животные, имеющие холодную кровь.

46) Старинное правило светских людей: *parler sans accent*.

– «говорить без выражения» означает, что следует предоставлять уму собеседников разбирать то, что мы сказали: ум их медлителен, и пока он справится с нашими словами, мы успеем уйти далеко. Напротив, «говорить с выражением» – значит, обращаться к чувству – и тогда происходит обратное. Иному можно без непосредственной опасности наговорить поразительной ерунды, лишь бы все было сказано вежливо и дружеским тоном.

### **Г. Наше отношение к общему ходу мировых событий и к судьбе**

47) В какие бы формы не облекалась человеческая жизнь, элементы ее всегда одни и те же, и потому сама она в существенных чертах всюду одинакова, протекает ли она в лачуге, при дворе, в монастыре или в полку. Как бы разнообразны ни были события, происшествия, удачи и неудачи жизни, все же они напоминают кондитерские печения: им приданы разнообразнейшие замысловатые формы, но все они сделаны из одного теста; так же и события, происшедшие с одним, похожи на происшествия в жизни другого гораздо более, чем это нам кажется во время рассказа о них. События нашей жизни похожи на картины в калейдоскопе, где при каждом обороте мы видим нечто новое; на самом же деле – это все одно и то же.

48) Древний мудрец заметил совершенно справедливо, что есть три мировых силы: разум, сила и счастье. Я полагаю, что последняя сила – самая могущественная. Наш жизненный путь можно уподобить пути корабля. Судьба – то благосклонная, то недружелюбная – играет роль ветра, то быстро подвигая нас вперед, то отбрасывая далеко назад, причем наши усилия и действия могут лишь слабо бороться с нею. Наши усилия играют роль весел; лишь только благодаря долгой работе на них нам удастся продвинуться несколько вперед, как внезапный порыв ветра настолько же отбрасывает нас назад. Если же ветер благоприятен, то он так быстро двигает нас, что в веслах нет надобности. Это могущественное влияние счастья неподражаемо выражено в испанской пословице: «достань счастье для твоего сына и тогда смело кидай его в море».

Правда, что случай – это злая сила, подпадать под влияние которой следует по возможности реже. И однако, кто тот единственный благодетель, который, даруя нам что-либо, ясно дает понять при этом, что мы не можем предъявлять никаких прав на его дары, что этим дарам мы обязаны отнюдь не собственным достоинствам, а исключительно его милости и доброте, и что именно в этом мы можем почерпнуть радостную надежду и впредь получать некоторые незаслуженные блага? Благодетель этот – случай, умеющий с царственным величием убедить, что любая заслуга бессильна и ничего не значит пред его милостью или гневом.

Когда оглядываешься на свой жизненный путь, обзираешь запутанные, как в лабиринте, ходы его и видишь, как много счастья нами упущено и сколько несчастий навлечено нами же, то легко можно зайти слишком далеко в упреках самому себе. Но ведь жизнь наша не всецело строится нами самими, а есть продукт двух факторов, а именно: ряда событий и совокупности наших решений; оба эти фактора постоянно скрещиваются между собою, меняя друг друга. К тому же в том и в другом наш горизонт крайне ограничен: мы не

можем заранее предугадать наши решения, а тем паче предвидеть грядущие события; из тех и других нам известны только те, которые совершаются в данный момент. Поэтому, пока наша цель далека, мы не можем держать путь прямо на нее, в лучшем случае можем направляться лишь приблизительно в ее сторону, часто прибегая к лавированию. Все, что мы можем сделать – это принимать решения, сообразуясь с условиями данного момента, в надежде, что удастся остановиться на таком решении, которое приведет нас ближе к главной цели. Таким образом, внешние события и наши главнейшие намерения – это две силы, действующие в разных направлениях, диагональ же их – это наш жизненный путь. – Теренций сказал: «с жизнью человеческой то же, что с игрою в кости: если не выпадет та, какую мы желали, то надо использовать ту, которая выпала» (вероятно, он имел в виду что-либо вроде игры в триктрак). Короче говоря – судьба тасует карты, а мы играем. Но удобнее всего пояснить мое воззрение в этом вопросе следующим сравнением. Жизнь подобна игре в шахматы: мы создаем известный план, но он находится в зависимости от того, что угодно будет сделать партнеру в игре, и судьбе – в жизни. Изменения, происходящие вследствие этого с нашими планами, обыкновенно настолько значительны, что при самом исполнении от плана сохраняются несколько основных черт.

Впрочем, в нашей жизни есть еще нечто, что важнее всего этого. Это та весьма тривиальная, часто подтверждающаяся истина, что мы нередко бываем глупее, чем полагаем; напротив, оказаться умнее, чем нам казалось – это открытие чрезвычайно редкое и возможно лишь впоследствии, задним числом. В нас есть нечто поумнее головы. В важных вопросах, в серьезнейших жизненных делах мы действуем не столько по ясному сознанию того, что правильно, а по некоему внутреннему импульсу, пожалуй, даже инстинкту, коренящемуся в последних глубинах нашего «я» – и лишь позже подгоняем наш образ действий к ясным, хотя и неглубоким, приобретенным, а то и просто позаимствованным понятиям, под общие правила, чужие примеры и т. д.; недостаточно усваивая, что нельзя всех подгонять под одну мерку, мы часто бываем несправедливы к самим себе. Лишь к концу выясняется, кто был прав, а потому, только счастливо достигнув старости, мы способны обсудить объективную и субъективную сторону вопроса.

Быть может, этот внутренний импульс руководит незаметно для нас пророческими снами, забываемыми при пробуждении, которые именно потому, что не доходят до нашего сознания, сообщают жизни ту равномерность, то драматическое единство, какого не могло бы ей придать столь шаткое, неуверенное и часто меняющееся мозговое сознание, и вследствие коего, напр. тот, кто призван к какой-либо великой деятельности, уже с юности втайне ощущает в себе это призвание и трудится для воплощения его подобно пчеле, строящей улей; для рядового же человека этот импульс служит инстинктивным самосохранением, без которого человек погиб бы. – Действовать по абстрактным принципам – трудно и удастся лишь после долгого упражнения, да и то не всегда; к тому же сами принципы часто несостоятельны. Зато у каждого есть известные врожденные конкретные принципы, вошедшие ему в плоть и кровь и составляющие результат всех его размышлений, ощущений и желаний. Он сам не знает их обычно *in abstracto*, и лишь озираясь на прошедшее, видит, что он им всегда следовал и был управляем ими, как невидимыми нитями. Смотри по тому, каковы эти принципы, они дают человеку счастье или горе.

49) Следовало бы всегда иметь в виду влияние времени, и изменчивость вещей, и потому, переживая что-либо в настоящем, тотчас же воображать противоположное этому – т. е. в счастье вспоминать о беде, в дружбе – о вражде, в хорошую погоду – о дурной, в любви – о ненависти, при доверчивости – об измене и раскаянии, – и наоборот. В этом заключается неиссякаемый источник житейской мудрости: мы во всем были бы осторожны и не так легко вдавались в обман; в большинстве случаев этим мы только предвляли бы действие времени. – Но, пожалуй, нет ни одного знания, для которого опыт был бы так необходим, как для правильной оценки непостоянства и изменчивости вещей. Так как каждое состояние, пока оно длится, необходимо и существует с полным правом, то нам кажется, что каждый год, каждый месяц, каждый час сохранит навеки это право на существование. Но на деле он

его не удерживает, и вечным оказывается лишь изменимость. Тот умен, кого не обманывает кажущееся постоянство, и кто к тому предвидит направление, в каком произойдут ближайшие изменения<sup>30</sup>. Если же, напротив, люди считают обычно временное положение вещей или данное течение событий постоянным, то это происходит оттого, что имея пред глазами следствия, они не видят причин, а в них-то именно и кроется зародыш предстоящих изменений, всецело отсутствующий в действии, которое только людям и понятно. Основываясь на этом действии, они предполагают, что раз неизвестные им причины смогли произвести эти действия, то они способны также сохранить их в неизменном виде. При этом люди выгадывают в том, что если они ошибаются, то всегда сообщают: а потому и являющиеся следствием ошибки несчастья постигают их всегда вместе, тогда как мыслящая голова, раз ошибшись, должна в одиночестве нести ответственность. – Кстати сказать, в этом – подтверждение моего тезиса, что ошибка всегда заключается в выводе причины из следствия (см. Мир как воля и пр., т. I).

Однако, предвирать время следует лишь теоретически, предвидением его действия, но не практически, не забегая вперед, не требуя раньше времени того, что должно придти со временем. Тот, кому вздумается так поступать, испытает, что нет злейшего, более беспощадного ростовщика, как именно время, и что если требовать с него уплаты до срока, то оно возьмет за это большие проценты, чем жида. Можно, напр., негашеной известью и жарю настолько ускорить рост дерева, что оно в несколько дней даст листву, расцветет и принесет плоды; но после этого оно погибает. – Если юноша в 18 лет будет вести, хотя бы всего несколько недель, такую интенсивную половую жизнь, которая нормальна лишь в тридцатилетнем возрасте, то время, пожалуй, даст ему аванс, но за это придется заплатить частью сил последующих лет жизни. – Существуют болезни, от которых основательно можно излечиться лишь дав им возможность протекать своим порядком, отчего они исчезают сами собою, не оставляя никаких следов. Если же мы желаем выздороветь именно сейчас, то время и здесь принуждено будет дать нам аванс, и болезнь проходит, но проходит ценою слабости и хронического недомогания на всю жизнь. – Если в военное время или во время смуты нужны деньги, нужны тотчас же, немедленно, именно сейчас, то приходится продавать недвижимое имущество или государственные бумаги за 1/3 их цены, а то и еще дешевле, тогда как предоставив действовать времени, переждав несколько лет, мы получили бы за них настоящую цену; но и тут мы вынуждаем у времени аванс. – Или, напр., нужны деньги для далекого путешествия; за один или два года эту сумму можно было бы скопить из доходов; но ждать не хочется, нужную сумму мы занимаем или берем ее из капитала; опять-таки время дает аванс. Процентом оказывается запутанность кассы, постоянный и все возрастающий дефицит, от которого уже не отделаться. – Таково ростовщичество времени – каждый, кто не ждет, становится его жертвой. Ускорять мирное течение времени – предприятие, обходящееся очень дорого. Остерегайтесь задолжать времени проценты.

50) Характерная, весьма часто сказывающаяся в обыденной жизни разница между заурядными и умными людьми заключается в том, что первые, обсуждая и оценивая возможные опасности всегда справляются и принимают в расчет только то, что уже произошло в этом отношении; вторые же, наоборот, обсуждают что могло бы случиться, памятуя испанскую пословицу: «что не случается за целый год, то может произойти в несколько минут». Впрочем, это вполне естественно: чтобы охватить взглядом то, что может случиться, для этого нужен разум, – то, что уже случилось, нуждается, чтобы быть понятным, в одних лишь чувствах.

---

30     Случай играет настолько важную роль во всех человеческих делах, что, пока мы стараемся путем жертвы, предотвратить какую-либо отдаленную опасность, она исчезает в силу непредвиденного положения, какое приняли обстоятельства, и тогда не только даром потеряны принесенные жертвы, но даже произведенное ими изменение теперь, при изменившемся положении вещей, становится прямо-таки невыгодным. Поэтому не следует рассчитывать наши действия на слишком отдаленное будущее, но принимать в расчет и случай, и смело глядеть в глаза иной опасности, надеясь, что она, как многие грозные тучи, пройдет мимо.

Нашей заповедью должно быть следующее: приноси жертву злым духам. Т. е. не следует отступать пред известной затратой труда, времени, удобств, денег и пред лишениями, если этим можно закрыть доступ грядущей беде и устроить так, чтобы чем больше была беда, тем меньше и отдаленнее была бы ее вероятность. Самая наглядная иллюстрация к этому правилу – это страховая премия; она – жертва, открыто и всеми приносимая на алтарь злему духу.

51) Ни при каком событии не следует слишком ликовать или горько плакаться, – отчасти вследствие изменчивости всех вещей, могущей каждую минуту изменить свое положение, отчасти вследствие возможности ошибки в наших суждениях о том, что вредно и что полезно: почти каждому случалось горевать о том, что оказывалось впоследствии его истинным счастьем, и радоваться тому, что становилось для него источником величайших страданий. Тот образ мыслей, какой я рекомендую, великолепно выражен Шекспиром («Конец – делу венец», д. 3, сц. 2).

«Я столько уж ударов испытала, И радости, и горя, что меня Внезапною они не поражают, Хоть я и женщина».

Вообще, человек, остающийся спокойным при всех несчастьях доказывает, что ему известно, насколько многочисленны и огромны возможные в жизни беды, почему он и видит в данном, наступившем несчастье лишь незначительную часть тех, какие могли бы стрястись; таково именно воззрение стоиков, гласящее, что нельзя никогда забывать об условиях человеческой жизни, а должно помнить, что наше бытие – в сущности, весьма грустный и жалкий удел, и что бедствия, каким мы подвержены – поистине неисчислимы. – Чтобы поддержать в себе такое воззрение, достаточно где бы то ни было кинуть взгляд на окружающее: решительно всюду мы видим ту же решительную борьбу за жалкое, бедное, ничего не дающее существование. Тогда мы сократим наши притязания, научимся мириться с несовершенством всех вещей и состояний и анализировать грозящие несчастья, с целью или избежать их или легче перенести. Ибо, как большие, так и малые неудачи составляют основной элемент нашей жизни; это следует постоянно иметь в виду, не изливаясь, однако, – по примеру Бересфорда – в жалобах на бесчисленные бедствия человеческой жизни, не терзаясь ими, а тем паче не взывая к Господу по поводу укуса блохи; следует, напротив, обратить усиленное внимание на предупреждение и предотвращение неудач, – грозят ли они со стороны людей или вещей – и настолько изощриться в этом, чтобы подобно хитрой лисе, суметь избежать всяких, и крупных и мелких ошибок, являющихся в большинстве случаев скрытой неумелостью.

Главная причина того, что нам легче перенести какие-либо несчастья, если мы заранее считаем его возможным и, как говорят, свыклись с ним, заключается в том, что спокойно обсуждая какой-либо случай, еще не наступивший, обсуждая его в качестве возможности, мы ясно видим весь объем и направление несчастья, и начинаем считать его конечным и обозримым; вследствие этого, когда это несчастье наступит, оно поразит нас не тяжелее своего действительного значения. Но если ничего этого мы не выполнили, если несчастье застало нас врасплох, то наш испуганный ум не в силах сразу же определить его размер; оно, так сказать, необозримо, а потому может показаться неизмеримым или, по крайней мере, гораздо большим, чем оно есть на самом деле. Таким образом темнота и неизвестность представляют нам всякую опасность в увеличенном виде. К этому надо прибавить, что признав заранее возможным какое-либо несчастье, мы вместе с этим обдумываем то, что может нам послужить утешением или помощью в беде, по крайней мере, привыкаем к представлению о ней.

Ничто не даст нам больше силы к тому, чтобы спокойно перенести свалившуюся беду, как убеждение в следующей истине, установленной и выведенной из последних своих основ в моем премированном труде о свободе воли: «Все, что совершается, с самого великого до самого ничтожного, – совершается необходимо». Человек умеет скоро мириться с неизбежной необходимостью, а знание приведенной истины, заставит его видеть во всем даже, в том, что вызвано самой странной случайностью, нечто столь же необходимое, как то,

что свершается в силу простейших правил и потому уже ясно заранее. Здесь я отсылаю к тому, что говорил в моем главном труде (т. I) об успокаивающем действии, какое оказывает сознание неизбежности и необходимости. Кто проникается этим сознанием, тот прежде всего сделает все, что в его силах, а затем уже спокойно примет те неудачи, какие его постигнут.

Можно считать, что мелкие неудачи, ежечасно досаждающие нам, существуют как бы для нашего упражненья, для того, чтобы сила, позволяющая нам переносить большие несчастья, не ослабла бы совершенно в довольстве. Надо быть хорошо забронированным от будничных неприятностей, мелочных трений людского общения, от незначительных столкновений, чужих скверностей, сплетен и т. д., т. е. совершенно не ощущать их, а по давню не принимать их близко к сердцу и не углубляться в мысли о них; все это следует отстранять от себя, отталкивать, как камень, лежащий на дороге, и ни в коем случае не допускать проникнуть этому в наше мышление и укрепиться в памяти.

52) То, что людьми принято называть судьбою, является, в сущности, лишь совокупностью учиненных ими глупостей. Следовало бы основательно проникнуться строками Гомера (Ил. XXIII, 313), где он советует серьезно размышлять о каждом деле. Ибо, если дурные поступки искупаются на том свете, то за глупые – придется расплатиться уже на этом, – хотя, правда, иногда гнев перелagается на милость.

Опасным и ужасным кажется не тот, кто смотрит свирепо, а тот, кто умен: – мозг человека – безусловно, более страшное орудие, чем когти льва.

Идеал практического человека – это тот, кто умеет найтись во всех случаях и никогда не спешит чрезмерно.

53) Наряду с умом, весьма существенным данным к нашему счастью является мужество. Правда, нельзя своими силами добыть ум или мужество: первое наследуется от матери, второе – от отца; однако, при желании и при упражнении можно увеличить в себе оба эти свойства. Этот мир, где жизнь так сурова, требует железного рассудка, бронированного от судьбы и готового к борьбе с людьми. Ибо вся жизнь – борьба, каждый шаг приходится завоевывать, и Вольтер справедливо замечает: «в этом мире успех можно добыть лишь шпагой, и люди умирают с оружием в руках». Поэтому труслив тот, кто, как только сгущаются или даже только появляются на горизонте тучи, – съеживается, начинает дрожать и стонать. Пусть нашим девизом служат слова: «Не уступай несчастью, но смело иди ему навстречу». Пока еще сомнителен исход какого-либо опасного положения, пока еще есть какая-нибудь надежда на то, что он будет счастливым, нельзя поддаваться робости, а следует думать лишь о сопротивлении, точно так же, как нельзя отчаиваться в хорошей погоде, пока виден кусочек синего неба. Даже более: надо иметь право сказать: «если развалится весь мир, то это не устроит нас». Вся наша жизнь, не говоря уже об ее благах, не стоит того, чтобы замирать сердцем и так трусливо дрожать за нее; «поэтому будьте сильны, и несчастья встречайте с твердым духом». Однако и в этом направлении возможна утрировка: мужество может перейти в отчаянную удадь. Поэтому известная доля боязливости прямо-таки необходима в нашей деятельности: трусость – это только ее утрировка. Бэкон Веруламский выразил очень метко эту мысль в своем этимологическом объяснении – *terror Panicus* – панического ужаса, – значительно превосходящем прежнее объяснение, предложенное Плутархом (*de Iside et Osir.*, С...14). Бэкон приводит этот термин от Пана – олицетворенной природы – и говорит (*De sapientia veterum*, VI): «Природа вложила чувство боязни и страха во все живущее для сохранения жизни и ее сущности, для избежания и устранения всего опасного. Однако, природа не сумела соблюсти должной меры: к спасительной боязни она всегда примешивает боязнь напрасную и излишнюю; если бы можно было видеть, что происходит внутри существ, мы открыли бы, что все, а люди в особенности, полно панического страха». Между прочим, характерная черта панического страха еще и в том, что он не сознает ясно своих собственных причин; он их скорее предполагает, нежели знает, и в крайнем случае за причину страха выдает самый страх.



## Глава шестая. О РАЗЛИЧИИ ВОЗРАСТОВ

Вольтер великолепно выразился:

Qui n'a pas l'esprit de son vge, De son vge a tout le malheur.<sup>31</sup> К концу этого эвдемонологического очерка уместно будет кинуть взгляд на те изменения, какие производит с нами возраст.

В течение всей нашей жизни мы обладаем только настоящими ничего более. Вся разница сводится к тому, что в начале жизни длинное будущее впереди нас, к концу же ее – длинное прошедшее позади; сверх этого наш темперамент, но отнюдь не характер, подвергается известным изменениям, благодаря чему каждый раз сообщается настоящему различный оттенок.

В моем главном труде (т. II, гл. 31) я выяснил, как и почему в детстве мы более склонны к познанию, нежели к проявлению воли. На этом-то и основано счастье первой четверти нашей жизни, вследствие которого годы эти кажутся потом впоследствии потерянным раем. В детстве у нас очень узок круг сношений, потребности – ничтожны, а, следовательно, волевых возбуждений – мало и большая часть нашего духа направлена на познание. – Так же, как мозг, достигающий полного объема уже на 7-ом году, ум развивается очень рано, хотя созревает лишь позже, – и жадно всматривается в совершенно неведомую для него жизнь, где решительно все покрыто блеском новизны. Этим объясняется, почему наши детские годы так поэтичны. Ведь сущность поэзии, как и всякого искусства, заключается в извлечении из каждого отдельного данного из «Платоновской идеи»

– т. е. сущности его, того, что у него есть общего с целым родом; таким образом, каждый предмет является представителем своего рода, и один случай разъясняет тысячу. Хотя и кажется, что мы в годы детства бываем заняты каждый раз лишь данным конкретным предметом или происшествием, и то лишь постольку, поскольку это касается наших желаний в данный момент, но в сущности дело обстоит иначе. Жизнь, во всем ее значении, представляется нам еще столь новою, впечатления, ею производимые, еще не притуплены повторением, так что, несмотря на детские повадки, мы молча, без определенного намерения, занимаемся тем, что из отдельных сцен и событий извлекаем самую сущность жизни, основные типы ее форм и проявлений. Во всех предметах и лицах мы видим в это время, как выражается Спиноза, «как бы подобие вечности». Чем мы моложе, тем более каждый отдельный предмет заступает в наших глазах весь свой род. Но эта черта постепенно, с году на год, стирается: на этом и основана огромная разница во впечатлениях, производимых на нас вещами в молодости и в зрелом возрасте. Поэтому опыт и знания детства и ранней юности определяют неизменные уже типы и рубрики, в которые укладывается всякое последующее познание и опыт; они же устанавливают и категории, под которые мы впоследствии подводим все, хотя и не всегда сознательно. Таким образом, уже в детские годы образуется прочная основа мировоззрения а, следовательно, определяется поверхностный или глубокий характер его; развивается и завершается оно лишь позже, не меняясь, однако, в основных чертах. В силу этой чисто объективной и чрез то поэтической концентрации, отличающей детские годы, и находящей поддержку в том, что воля еще долго не скажется в полной силе, – в силу этого-то дети и оказывают значительно более склонности к познанию, чем к хотению. Следствием этого является тот серьезный вдумчивый взгляд иных детей, который так хорошо передан Рафаэлем в его ангелах, в особенности, на Сикстинской Мадонне. Поэтому же дни детства настолько полны счастья, что воспоминание о них всегда связано с сожалением. – В то время, как мы столь серьезно предаемся наглядному познанию вещей, – воспитание, со своей стороны, старается

---

31 У кого ум не соответствует возрасту, тот испытывает все несчастья своих лет.

привить нам понятия. Однако, самый существенный элемент познания дается не понятиями: основа, подлинное содержание всякого познания – доставляются именно наглядной концепцией мира, которая может быть добыта лишь нами самими и отнюдь не может быть как-либо преподана извне. Поэтому наша моральная и интеллектуальная ценность сообщается нам не извне, а исходит из глубин нашего собственного существа; педагогические приемы самого Песталоцци не могут из урожденного дурака сделать мыслящего человека; он родился дураком и должен умереть им же. – Изложенную концепцией впервые открывающегося пред нами внешнего мира объясняется, почему обстановка и опыт нашего детства так прочно запечатлеваются в памяти. Ведь им мы отдавались нераздельно, ничто нас не отвлекало от них, и предметы, находившиеся пред нами, мы считали единственными в своем роде, даже единственно существующими вообще. – Если при этом вспомнить то, что изложено мною во втором томе моего главного труда, а именно: что объективное бытие всех вещей, т. е. существование их лишь в представлении – дает одни радости, тогда как субъективное их существование, заключающееся в желании, – значительно отравлено страданиями и несчастиями; – тогда весь рассматриваемый вопрос можно свести к следующему краткому положению: смотреть на все – приятно, быть чем-либо

– ужасно. Из сказанного следует, что в детстве вещи известны нам гораздо более с виду, т. е. со стороны представления, объективно, – нежели со стороны их бытия, т. е. с волевой их стороны. Так как объективная сторона предметов прекрасна, а субъективная и мрачная – пока еще неизвестна нам, то юный ум видит в каждом образе, который дает ему действительность или искусство, – весьма счастливое существо, полагая, что, раз это так прекрасно на вид, то быть этим – столь же или даже более прекрасно. Поэтому мир кажется ему Эдемом; это и есть та Аркадия, в которой мы все родились. Несколько позже отсюда возникает жажда действительной жизни, стремление действовать и страдать, толкающее нас в пучину жизни. В мирской суете мы познаем и другую сторону вещей – сторону их бытия, т. е. воли, с которой приходится сталкиваться на каждом шагу. Но мало-помалу близится тяжелое разочарование, с наступлением коего приходится сказать: «миновала пора иллюзий»; разочарование это разрастается все больше – делаясь все глубже и глубже. Можно сказать, что в детстве жизнь представляется нам декорацией, рассматриваемой издали, в старости же – той же декорацией, только рассматриваемой вблизи.

Счастьем детского возраста способствует еще следующее обстоятельство. Как в начале весны – вся листва одного цвета и почти одинаковой формы, так и мы в раннем детстве чрезвычайно похожи друг на друга и потому великолепно гармонизируем между собой. Но с возмужалостью начинается расходимость, постепенно увеличивающаяся подобно радиусам расширяющейся окружности.

Остальная часть первой половины нашей жизни, имеющей столько преимуществ по сравнению со второй, – юношеский возраст, – омрачается и делается несчастливою благодаря погоне за счастьем, погоне, предпринимаемой в предположении, что в жизни можно добыть его. Из этого вытекают постоянно рушащиеся надежды, порождающие в свою очередь, неудовлетворенность. Пред нами носятся обманчивые образы неопределенного, словно виденного во сне счастья, принимающие самые капризные очертания, и мы напрасно ищем их воплощения. Потому-то в юношеские годы мы обыкновенно недовольны нашим положением и окружающим, каковы бы они ни были; ибо им мы ставим в упрек то, что вообще присуще пустой и жалкой человеческой жизни, с которой мы в это время сталкиваемся впервые, причем до сих пор ждали от нее совершенно иного. – Большим выигрышем было бы, если бы можно было искоренять уже в юности, путем своевременных наставлений, ту иллюзию, будто мир может нам дать многое. На деле происходит обратное: обычно жизнь познается нами сперва из поэзии, а потом уже из действительности. Пред нашим взглядом рисуются, на заре нашей жизни, красивые поэтические образы; нас мучит жажда видеть их воплотившимися – схватить в руки радуго; юноша мечтает, что жизнь его выльется в форму какого-то захватывающего романа. Отсюда получается иллюзия,

описанная мною во втором томе главного труда. Всем этим образам придает прелесть именно то, что они – только образы, что они не реальны, вследствие чего, созерцая их, мы находим покой и удовлетворение чистого познания. Осуществить – значит выполнить при посредстве воли, неизбежно приносящей с собою страдания.

Характерной чертой первой половины жизни является неутолимая жажда счастья; второй половины – боязнь несчастья. К этой поре в нас выросло более или менее ясное сознание, что всякое счастье – призрачно, и что, напротив, страдание – реально. В эту пору люди, по крайней мере, наиболее разумные из них, стремятся более к избавлению от боли и беспокойства, нежели к счастью<sup>32</sup>. Когда юношей я слышал звонок у своих дверей

– я был рад, я говорил себе: «наконец-то». Но в последующие годы ощущение мое при подобных обстоятельствах было сродни страху; я говорил себе: «вот оно». – Выдающиеся, богато одаренные личности, которые именно в виду этого не вполне принадлежат к человеческому роду и, следовательно, являются более или менее, в зависимости от степени своих достоинств, одинокими – испытывают по отношению к людям два противоположных чувства: в юности они часто чувствуют себя покинутыми людьми, в позднейшие годы они чувствуют, что сами убежали от людей. Первое – весьма неприятное – ощущение вытекает из незнакомства, второе – приятное – из знакомства со светом. Вследствие этого вторая половина жизни содержит в себе – подобно второй части музыкального периода – меньше порывистости и больше спокойствия, нежели первая; происходит это оттого, что в юности мы воображаем, будто на свете существует бесконечное счастье и наслаждения, и что только трудно его добыть, в зрелых же летах мы знаем, что ничего такого на самом деле нет, и успокоившись на этот счет, наслаждаемся сносным настоящим, находя радость даже в мелочах.

То, что зрелый человек приобретает жизненным опытом, благодаря чему он иначе смотрит на мир, чем в детстве или отрочестве – это прежде всего непосредственность. Он научается смотреть просто на вещи и принимать их за то, что они есть на самом деле; тогда как от мальчика или юноши истинный мир скрыт или искаженным предательским туманом, состоящим из собственных грез, унаследованных предрассудков и безудержной фантазии. Первое, что приходится выполнить опыту, – это освободить нас из-под власти разных «жупелов» и ложных представлений, приставших к нам в юности. Лучшим воспитанием, хотя только отрицательным, какое следовало бы давать юношам – было бы охранять их от подобных заблуждений; задача, правда, не из легких. Для достижения этой цели следовало бы вначале по возможности ограничивать кругозор ребенка, но зато излагать все, находящееся в пределах этого круга, ясными и правильными понятиями; лишь после того, как он правильно усвоит все лежащее внутри этой черты, можно начать постепенно раздвигать ее, постоянно заботясь о том, чтобы не оставалось ничего невыясненного, ничего такого, что могло бы быть им понятно лишь наполовину или не совсем верно. Вследствие этого его представления о вещах и человеческих отношениях было бы, правда, несколько ограниченными и примитивными, но зато ясными и правильными, так что оставалось бы только расширять, но не исправлять их; это следовало бы применять до юношеского возраста. Такой метод ставит первым условием запрещать чтение романов, а заменять их толковыми биографиями, напр., биографией Франклина, А. Рейзера, написанной Морицем и т. п.

Пока мы молоды, мы воображаем, что события и лица которым предстоит сыграть важную, чреватую последствиями роль в нашей жизни, будут происходить под звуки труб и барабанов; в зрелые же годы взгляд, брошенный назад, покажет нам, что все они прокрадывались тихонечко, через задние двери и остались почти незамеченными нами.

Все в том же смысле можно уподобить жизнь вышитому куску материи, лицевую сторону коего человек видит в первую половину своей жизни, а изнанку – во второй;

---

32 В старости люди более всего оберегают себя от несчастий; в юности – легче переносят их.

изнанка, правда, не так красива, но зато более поучительна, так как на ней можно проследить сплетение нитей.

Высокое умственное превосходство может быть проявлено в беседе в полном блеске лишь после сорока лет. Ибо это превосходство может, правда, далеко превышать опытность и зрелость данного возраста, но отнюдь не способно заменить собою эти данные, дающие даже самому заурядному человеку известный противовес силам величайшего ума, пока тот еще молод. Здесь я имею в виду лишь личные отношения, не творения.

Ни один, хоть сколько-нибудь выдающийся человек, не принадлежит к 5/6 столь скудно одаренного природой человечества, но может остаться после сорока лет свободным от некоторого мизантропического налета. Вполне естественно, что когда-то он по себе судил о других и постепенно разочаровывался, убеждаясь, что люди далеко отстали от него и никогда не сравняются с ним в отношении ума или сердца, а чаще всего – и того и другого, вследствие чего он и старается по возможности меньше общаться с ними; лишний раз упоминаю, что человек любит и ненавидит одиночество, т. е. общество самого себя, – в зависимости от своей внутренней ценности. Этот вид мизантропии разбирается, между прочим Кантом в Критике способности суждения, в конце общего примечания к § 29 первой части.

Для молодого человека служит дурным признаком, – дурным как в умственном, так и в нравственном отношении, – если он рано начинает хорошо разбираться в суеде людской жизни, чувствовать себя в ней, как дома, и вступает в нее уже как бы подготовленным; все это указывает на пошлость. Напротив, неуверенное, неловкое, неумелое поведение говорит о более благородной натуре.

Веселье и жизнерадостность нашей юности обусловлены, между прочим, тем, что идя вверх, в гору жизни, мы не видим смерти, находящейся у подножия горы с другой стороны. Но взобравшись на вершину горы, мы уже собственными глазами видим эту смерть, о которой раньше знали лишь по слухам, а так как к этому времени начинают убывать жизненные силы, то и жизнерадостность слабеет и хмурая серьезность вытесняет юношеский задор и уверенность, отражаясь на наших чертах. Пока мы молоды, то что бы нам ни говорили, – мы считаем жизнь бесконечной и сообразно с этим обращаемся с временем; чем старше мы делаемся, тем экономнее мы пользуемся им; на склоне лет каждый прожитый день вызывает ощущение, родственное с тем, какое испытывает присужденный к смерти преступник при каждом шаге на пути к месту казни.

С точки зрения молодости жизнь есть бесконечно долгое будущее; с токи зрения старости – очень короткое прошлое; в начале жизнь представляется нам так, как какой-нибудь предмет, если рассматриваешь его в бинокль, приставивши к глазу стекло объектива, – а позже – как тот же предмет, рассматриваемый через окуляр бинокля. Нужно долго прожить – состариться, чтобы понять, как коротка жизнь. – Чем старше мы становимся, тем сложнее кажется нам решительно все человеческое; жизнь, представлявшаяся нам в юности чем-то определенным и нерушимым, теперь кажется быстрым мельканием эфемерных явлений; обнаруживается ничтожеством всего земного. – В юности даже само время течет гораздо медленнее; поэтому первая четверть жизни – не только самая счастливая, но и самая длинная, оставляет по себе несравненно больше воспоминаний, так что каждый мог бы рассказать гораздо больше из первой четверти жизни, нежели из двух доследующих. Как в весеннюю пору года, так и в весеннюю пору жизни дни тянутся иногда томительно долго. К осени они становятся короткими, но зато более яркими и постоянными.

Почему же в старости прожитая жизнь кажется такой короткой? Это происходит потому, что сократилось воспоминание о ней; из него исчезло все незначительное и неприятное, в результате осталось очень немного. Как ум, так и память далеко несовершенны: необходимо повторять выученное, перебирать свое прошлое, иначе и то, и другое канет в Лету забвения. Но мы не имеем обыкновения перебирать незначительное, а также и неприятное, что, однако, было бы необходимо, чтобы сохранить это в памяти. При

этом то, что не имеет значения, все время увеличивается: в силу частого, прямо-таки бесконечного повторения многое, что сперва казалось нам важным, переходит в категорию незначительного; потому-то мы лучше припоминаем ранние годы, нежели позднейшие. Чем дольше мы живем, тем меньше событий кажутся нам важными или достаточно значительными для того, чтобы стоило впоследствии вспоминать о них, – а только при этом условии они могут удержаться в памяти, мы о них забываем, как только они совершатся. Таким образом, время бежит, оставляя все меньше и меньше следов за собою.

Неприятное мы также не любим вспоминать, в особенности, если было задето наше тщеславие, что случается как раз чаще всего; очень мало таких несчастий, в которых мы сами совершенно не виноваты; потому-то и забывается так много неприятного.

Благодаря тому, что выпадают эти две категории, наша память теряет все больше и больше событий, фонд ее сокращается сообразно с увеличением материала. Как предметы на берегу, от которого отходит наш корабль, становятся меньше, туманнее и труднее различимыми, – точно так же происходит с событиями и действиями минувших лет. Надо заметить, что иногда воспоминание и воображение вызывают какую-нибудь давно пережитую минуту из нашей жизни с такою живостью, словно это произошло вчера, и тем чрезвычайно приближают ее к нам; это обуславливается тем, что невозможно одновременно с этим представить себе длинный промежуток времени, отделяющий настоящее от того прошедшего, ибо этот промежуток не может уместиться в одной картине, и к тому же, большая часть случившихся за этот срок событий забыта, от них осталось лишь общее – *in abstracto* – сознание, одно понятие без созерцательного момента. Вот потому-то каждое отдельное событие из давно минувшего прошлого кажется нам таким близким, словно оно произошло вчера, тогда как время, отделяющее нас от него – вычеркивается, и вся жизнь кажется непонятно короткою.

В старости бывает иногда, что долгое, оставленное позади прошлое, а вместе с тем и самый наш возраст минутами кажутся нам прямо-таки сказочными; происходит это, главным образом, оттого, что мы все еще видим пред собою прежде всего то же самое неподвижное настоящее. В конце концов подобные внутренние явления основаны на том, что во времени существует не наше «я» само по себе, а лишь то или иное его проявлений, и что настоящее является точкой соприкосновения между объектом – миром – и субъектом – нами.

Но почему же в юности жизнь, открывающаяся впереди, кажется бесконечно длинною? Одна причина в том, что требуется простор для беспредельных надежд, которые мы возлагаем на жизнь, и для осуществления которых не хватило бы Мафусаилова века; другая – в том, что масштабом всей жизни мы берем те немногие годы, какие мы пока прожили; они дают богатый материал для воспоминания, ибо решительно все, благодаря своей новизне, кажется нам значительным, а потому так часто восстанавливается впоследствии в воспоминании, и закрепляется, в силу такого повторения, в памяти.

Иногда нам кажется, что мы тоскуем по какому-нибудь отдаленному месту, тогда как на самом деле мы тоскуем о том времени, которое мы там провели, будучи моложе и бодрее, чем теперь. Так обманывает нас время под маской пространства; если бы мы поехали туда – мы поняли бы наше заблуждение.

Двумя путями можно достичь глубокой старости, при том непременно условии, однако, что наш организм здоров и крепок; для пояснения приведу пример двух горящих ламп: одна из них горит долго потому, что, имея маленький запас масла, она снабжена весьма тонким фитилем, другая же – потому, что, имея толстый фитиль, она имеет и много масла, масло – это жизненная сила, фитиль – способ расходования этой силы.

В отношении жизненной силы мы до 36 лет подобны тем, кто живет рентой: что истрачено сегодня – будет завтра же пополнено. Но после этого года мы уподобляемся рантье, начинающему затрачивать свой капитал. Вначале это совсем незаметно: большая часть трат восстанавливается само собою; на незначительный дефицит мы не обращаем внимания. Но постепенно дефицит возрастает, делается заметным, самый рост его становится все быстрее, дела начинают запутываться и мы с каждым днем становимся

беднее без надежды на улучшение. Растрата все ускоряется, подобно падающему телу, в конце концов не остается ничего. Особенно печально, если одновременно тают и жизненная сила наша и наше состояние; потому-то с годами увеличивается страсть к обладанию – в начале же, до совершеннолетия и еще некоторое время спустя мы, в отношении жизненной силы подобны тем, кто часть процентов присоединяет к капиталу: не только само собою пополняется то, что мы истратили, но даже иногда увеличивается самый капитал. Так бывает иногда и с нашими деньгами, благодаря мудрой заботливости нашего опекуна.

Тем не менее следует беречь юношеские силы. Аристотель (Polit. L. ult. с. 5) говорит, что из числа победителей на олимпийских играх только двое или трое одерживали победы и мальчиками, и зрелыми мужчинами: преждевременные напряжения подготовительных упражнений настолько истощают силы, что впоследствии, в зрелом возрасте, их почти никогда не хватает. Сказанное относится как к физической, так тем паче и к нервной энергии, проявлением которой является всякий умственный труд; поэтому ранние гении – вундеркинды, плоды тепличного воспитания, возбуждающие удивление в детском возрасте, – становятся впоследствии весьма заурядными по уму. Возможно, что преждевременное, вынужденное напряжение при изучении древних языков является причиной последующего отупения и умственной неспособности многих ученых.

Я заметил, что почти у всех людей характер приурочен к какому-либо одному возрасту, и в этом возрасте выделяется особенно благоприятно. Иногда бывают милыми юношами, позже – эта черта исчезает; другие – сильны и деятельны в зрелом возрасте, но старость отнимает у них эти достоинства; третьи – наиболее привлекательны именно в старости, когда они благодаря опыту и большей уравновешенности, становятся мягче; последнее часто бывает с французами. Вероятно, это обуславливается тем, что в самом характере заключается нечто юношеское, мужественное или старческое, что гармонирует с соответствующим возрастом.

Подобно тому, как находясь на корабле, мы замечаем, что он идет, только потому, что предметы на берегу отходят назад и становятся все меньше, точно так же мы замечаем, что стареем лишь потому, что нам кажутся молодыми люди все более и более великовозрастные.

Выше было разъяснено, как и почему все, что мы видим, делаем и переживаем, оставляет тем меньше следов в нашей жизни, чем старше мы становимся. В этом смысле можно утверждать, что только в юности мы живем вполне сознательно, в старости же – лишь наполовину. Чем старше мы становимся, тем меньше сознательного в нашей жизни: все мелькает мимо, не производя впечатления, подобно художественному произведению, которое мы видели тысячу раз; мы делаем то, что нужно сделать, а потому даже не знаем, сделали мы это или нет. Именно благодаря тому, что жизнь наша становится все менее сознательной и все скорее подвигается к полной бессознательности, – начинает ускоряться и течение времени. В детстве каждый предмет, каждое событие в силу своей новизны, проникает в сознание; поэтому день кажется бесконечно долгим. То же происходит и в путешествии, когда один месяц кажется нам дольше, чем четыре месяца, проведенных дома.

– Однако, несмотря на эту новизну предметов, время, текущее в обоих случаях как будто более медленно, кажется иногда и более скучным, чем в старости или дома. – Постепенно в силу длительной привычки к одним и тем же впечатлениям, наш ум настолько обтачивается, что все начинает скользить по нему, не оставляя никаких следов; дни кажутся более незначительными и потому более короткими, словом, часы юности дольше часов старца. Течение нашей жизни имеет ускоряющееся движение подобно катящемуся вниз шару; подобно тому, как каждая точка на вертящемся круге движется тем скорее, чем дальше она отстоит от центра, так и для человека время течет все быстрее, пропорционально отдаленности его от начала жизни. Можно допустить, что продолжительность года по непосредственной оценке нашего духа находится в обратной пропорции к частному от деления одного года на число наших лет; так, например, когда год составляет  $\frac{1}{5}$  нашего возраста, он кажется нам в 10 раз длиннее, чем тогда, когда он составляет лишь  $\frac{1}{50}$ . Это различие в скорости времени оказывает решительное влияние на характер нашей жизни в

любом возрасте. Прежде всего, благодаря ему детство, хотя и обнимает всего только 15 лет, но является самым длинным периодом жизни, а, следовательно, и наиболее богатым по воспоминаниям; далее, в силу этого же различия мы подвержены скуке обратно пропорционально нашим летам: детям постоянно нужно какое-либо занятие, будь это игра или работа; как только оно прекратилось, ими тотчас же овладевает отчаянная скука. Юноши также сильно подвержены скуке и с тревогой взирают на ничем не заполненные часы. В зрелом возрасте скука постепенно исчезает; для старца время слишком коротко и дни летят, как стрела. Разумеется, я говорю о людях, а не о состарившихся скотах. Благодаря этому ускорению времени скука в большинстве случаев отпадает в зрелом возрасте и, так как, с другой стороны, замолкают томившие нас страсти, то, если только не потеряно здоровье, гнет жизни оказывается в общем более легким, чем в юности; потому-то период, предшествующий наступлению слабости и старческого недомогания, и называется «лучшими годами». В смысле нашего самочувствия они, пожалуй, действительно таковы; но за юностью, когда все еще производит впечатление и живо отражается в сознании, остается то преимущество, что ее годы – годы оплодотворения духа, весна, вызывающая его ростки. Глубокие истины могут быть познаны лишь путем созерцания, а не из расчета; первое познание их – непосредственное и дается впечатлением, а, следовательно, возможно лишь до тех пор, пока эти впечатления сильны, живы и глубоки. Итак, в этом отношении все зависит от того, как использована юность. Позже мы можем сильно влиять на других, на весь мир, так как сами мы закончены, определились и не поддаемся впечатлениям; зато мир влияет на нас гораздо меньше. Поэтому годы эти – время труда и деятельности, юность же – время первичного восприятия и познания.

В молодости преобладает созерцание, в старости – размышление; первая – период поэзии, вторая – философии. И на практике наши действия определяются в юности – виденным и впечатлением, получившимся от этого, в старости – одним лишь размышлением. Отчасти это вытекает из того, что только к старости накапливается и сводится к понятиям то количество реальных случаев, которое достаточно для того, чтобы придать этим понятиям авторитетность, содержательность и значение, и вместе с тем, смягчить, благодаря привычности, впечатление виденного. В юности же, в особенности у живых и с большим воображением натур, впечатление видимого, а, следовательно, и внешности вещей, настолько сильно, что мир представляется как бы картиной; для них важнее всего то, что они в ней изображают и как выглядят, а не то, как они себя чувствуют в душе. Это сказывается в их тщеславии и некотором фатовстве.

Наибольшая энергия и высшее напряжение духовных сил бывает, без сомнения, в молодости, отнюдь не позже 35 лет; начиная отсюда, оно убывает, слабеет, хотя и очень медленно. Но убыль эта в последующие годы, даже в старости, возмещается иными духовными данными. Только к старости человек приобретает богатый опыт и знание; у него было достаточно времени и случаев, чтобы рассмотреть и обдумать все со всех сторон; он понял взаимодействие явлений, точки их соприкосновения и открыл их промежуточные звенья, а, следовательно, только теперь всецело уяснил себе их связь между собою. Для него все стало ясным. То, что он знал и в юности теперь он знает гораздо основательнее, так как для каждого понятия у него есть гораздо больше данных. То, что в юности казалось нам известным, то в старости мы знаем действительно, да и знаем-то мы гораздо больше, чем тогда; сверх того наши познания становятся основательно продуманными и находятся в строгой связи, тогда как в юности они всегда имеют пробелы и отрывочны. Лишь старый человек может иметь полное и правильное представление о жизни, так как он обозревает ее во всей полноте, видит естественность ее течения и, что особенно важно, не только, как другие, сторону входа, но и выхода, благодаря чему он в совершенстве уясняет себе ее ничтожество, тогда как все остальные пребывают в заблуждении, что лучшее еще впереди. Зато в юности у нас больше восприимчивости, а потому из того немногочисленного, что мы в эту пору знаем, можем извлечь всегда много; взамен этого к старости мы получаем больше рассудительности, проницательности и основательности. То, что выдающимся умам

предназначено подарить миру, то они начинают собирать уже в юности, в виде материала собственных наблюдений и своих основных воззрений; но разработать собранное им удастся лишь в позднейшие годы. В большинстве случаев великие писатели дают лучшие свои произведения приблизительно около 50-летнего возраста. Тем не менее юность остается корнем древа познания, хотя плоды даются вершиной его. Но, как каждая эпоха, хотя бы самая жалкая, считает себя несравненно умнее предшествовавших веков, так же смотрит и человек на более молодой возраст; часто это и в том, и в другом случае бывает неверно. В годы физического роста, когда с каждым днем растут и наши умственные силы и знания, – мы привыкаем пренебрежительно, сверху вниз смотреть на вчерашний день. Привычка эта вкореняется и остается даже тогда, когда началась убыль духовных сил, и когда поэтому следовало бы с уважением смотреть на вчерашний день; потому-то в это время мы иногда и ценим слишком низко как деятельность, так и суждения молодых лет.

Следует заметить, что хотя основные черты нашего ума – нашего мозга врожденны так же, как и главные свойства характера

– сердца, – но интеллект наш отнюдь не является столь же неизменным, как характер, а подвержен многим изменениям, совершающимся в общем регулярно, ибо они обуславливаются частью тем, что основа интеллекта – все же физическая, частью тем, что материал его – эмпирический. Интеллектуальные силы равномерно растут, доходят до апогея, после чего начинают постепенно же падать, вплоть до идиотизма. С другой стороны материал, над которым орудует ум, т. е. содержание мыслей, знания, опыта, упражнения, сведений и, – как следствие всего этого – совершенство воззрений – есть постоянно растущая величина, растущая, впрочем, только до наступления расслабления ума, когда все это исчезает. Это смешение в человеке неизменного элемента – характера – с элементом, изменяющимся равномерно, в двух противоположных направлениях, – и объясняет различие его черт и достоинств в разные эпохи его жизни.

В более широком смысле можно сказать, что первые 40 лет нашей жизни составляют текст, а дальнейшие 30 лет – комментарий к этому тексту, дающие нам понять его истинный смысл и связность, а также все детали и нравоучение, из него вытекающее.

Конец жизни напоминает конец маскарада, когда все маски снимаются. Тут мы видим, каковы на самом деле те, с которыми мы приходили в соприкосновение. К этому времени характеры обнаружались, деяния принесли свои плоды, труды оценены по достоинству и иллюзии исчезли. На все это, конечно, пошло немало времени. – Но страннее всего то, что лишь к концу жизни мы можем узнать, вполне уяснить даже самих себя, наши цели и средства, а особенно наше отношение к миру, к другим. Часто, хотя и не всегда, приходится поставить себя ниже, чем мы раньше предполагали, иногда, впрочем, и выше, что происходит оттого, что мы не имели достаточно яркого представления о низости света и ставили себе слишком высокие цели. Словом, мы узнаем, чего каждый стоит.

Обыкновенно молодость называют счастливым, а старость – печальным периодом жизни. Это было бы верно, если бы страсти делали нас счастливыми. Однако, они-то и заставляют юность метаться, принося мало радости и много горя. Холодной старости они не тревожат и она принимает оттенок созерцательности; познание становится свободным и берет верх; а так как оно само по себе чуждо страданий, то чем больше оно преобладает в сознании, тем последнее счастливее. Достаточно вспомнить, что по существу наслаждение – отрицательно, а страдание – положительно, чтобы понять, что страсти не могут дать счастья и что нечего жалеть старость за то, что она лишена нескольких наслаждений. Каждое наслаждение – это только удовлетворение какой-либо потребности; если отпадает и то, и другое, то об этом следует жалеть так же мало, как о том, что после обеда нельзя есть и после крепкого долгого сна приходится бодрствовать. Платон во введении к «Республике» совершенно правильно считает старость счастливою, поскольку она свободна от полового влечения, не дающего нам до тех пор ни минуты покоя. Можно утверждать, что различные, постоянно появляющиеся фантазии, порождаемые половым влечением, и происходящие из них аффекты поддерживают постоянное безумие в людях, пока они находятся под



влиянием этого влечения, этого вселившегося в них демона, и лишь по избавлению от него они становятся вполне разумными. Во всяком же случае, в общем, и откинув индивидуальные условия и состояния, надо признать, что юности свойственна известная меланхолия и печаль, а старости – спокойствие и веселость духа; причина этому та, что юность находится еще под властью, даже в рабстве у этого демона, редко дающего ей спокойную минуту, и являющего непосредственным или косвенным виновником почти всех несчастий, постигающих человека или грозящих ему; в старости же дух ясен; человек избавился от долго отягчавших его цепей и получил возможность двигаться свободно. – С другой стороны надо заметить, что, раз погасло половое влечение, то и настоящее зерно жизни истлело и осталась лишь скорлупа, или что жизнь становится похожей на комедию, начатую людьми и доигрываемую автоматами, одетыми в их платья.

Как бы то ни было, – юность есть время треволнений, старость – эпоха покоя; уже по этому одному можно заключить о том, насколько счастливы та и другая. Дитя жадно простирает руки за тем, что ему кажется таким красивым и богато-пестрым; все это возбуждает его, так как восприимчивость его молода и чутка. То же самое, но с большей энергией, происходит и в юноше. И его дразнит пестрый мир с его многообразными формами и его фантазия создает из этого нечто гораздо больше того, что может дать действительность. И он полон жадности и стремления к чему-то неопределенному, отнимающему у него тот покой, без которого нет счастья. В старости все это улеглось, отчасти потому, что остыла кровь и уменьшилась раздражительность воспринимающих центров, отчасти потому, что опыт обнаружил истинную ценность вещей и суть наслаждений, благодаря чему мы постепенно освобождаемся от иллюзий, химер и предрассудков, скрывавших и искажавших дотоле подлинный вид вещей; теперь мы гораздо правильнее и яснее понимаем все, принимаем вещи за то, что они есть на самом деле и в большей или меньшей степени проникаемся сознанием ничтожности всего земного. Это именно и придает почти всем старым людям, даже с самым заурядным умом, известный отпечаток мудрости, отличающий их от более молодых. Важнее всего то, что все это дает спокойствие духа, являющееся одним из существенных элементов счастья, пожалуй даже, первое условие, сущность его. Тогда как юноша воображает, что в этом мире рассыпаны Бог знает, какие блага, и что надо только узнать, где он, – старец проникнут идеей Экклезиаста «суета сует» и знает, что как бы позолочены ни были орехи, все они пусты.

Лишь в преклонных годах человек проникается Гоциевским *nil admirari*<sup>33</sup> – т. е. непосредственным, искренним и твердым убеждением в ничтожности всего и в бессодержательности благ этого мира; химеры исчезли. Он уже не воображает, что где-то, во дворце или в хижине, существует какое-то особенное счастье, большее, чем то, каким он сам наслаждается повсюду, пока он свободен от душевных и телесных страданий. Людское деление на великое и малое, на благородное и низкое, – перестает для него существовать. Это дает старым людям особенное спокойствие духа, позволяющее с усмешкой взирать на земную суету. Он вполне разочаровался и знает, что человеческая жизнь, как бы ее ни разукрашивали и ни наряжали, все же вскоре выкажет, несмотря на эту ярмарочную прибранность, всю свою нищету, и что, несмотря на эти наряды, она в главных чертах всюду одна и та же, всюду истинная ценность ее определяется исключительно отсутствием страданий, отнюдь не наличностью наслаждений, а тем паче – блеска. (Нцг. *epist. L. I, 12, V. 1 – 4*). Основная характерная черта старости – разочарованность; пропали иллюзии, придававшие дотоле много прелести нашей жизни и возбуждавшие к деятельности; обнаружилось тщета и пустота всех благ мировых, в частности, блеска, великолепия и величия; человек узнал, что то, чего мы желаем, и наслаждения, к которым мы стремимся, могут дать нам лишь очень немного, и постепенно приходит к сознанию великой нищеты и пустоты нашего существования. Только к 70 годам можно вполне понять первый стих

Экклезиаста. – Все это придает старости некоторый налет угрюмости.

Обычно полагают, что удел старости – болезни и скука. Но болезни вовсе не необходимый ее признак, особенно, если предстоит очень долгая жизнь, что же касается скуки, то выше я показал, почему старость подвержена ей меньше, чем юность; точно так же скука вовсе не есть обязательный спутник одиночества, к которому, по вполне понятным причинам, склоняет нас старость. Скука сопутствует лишь тем, кто не знал иных наслаждений, кроме чувственных и общественных, кто не обогащал свой дух и оставил неразвитыми его силы. Правда, в преклонных годах духовные силы убывают, но их останется все же достаточно для того, чтобы побороть скуку, – если только их вообще было много. Сверх того, как показано выше, в силу опытности, упражнения и размышления, разум продолжает развиваться, суждения становятся более меткими, и уясняется связь вещей; мы постепенно усваиваем себе всеобъемлющий взгляд на целое; благодаря постоянному комбинированию на новый лад накопленных знаний, и обогащению их при случае, наше внутреннее самообразование продолжается по всем направлениям, давая занятие духу, умиротворяя и награждая его. Это в известной степени возмещает упомянутый упадок сил. К тому же, как сказано, время в старости бежит быстрее, что также противодействует скуке. Убыль физических сил вредит нам мало, если только мы не добываем ими хлеба. Бедность в старости – великое несчастье. Если ее удалось избежать и здоровье сохранено, то старость может быть весьма сносной порой жизни. Главные потребности ее – удобство и обеспеченность; потому в старости мы больше любим деньги, чем раньше: деньги возмещают отсутствующие силы. Покинутые Венерой, мы охотно ищем радостей у Вакха. Потребность видеть, путешествовать, учиться заменяется потребностью учить других и говорить. Счастье для старика, если в нем осталась любовь к науке, к музыке, к театру, вообще известная восприимчивость к внешнему миру, что у некоторых сохраняется до самых преклонных лет. То, что человек имеет в себе, никогда ему так не пригодится, как в старости. Правда, большинство, тупое, как всегда, превращаются к старости постепенно в автоматы; они думают, говорят и делают постоянно одно и то же, и никакое внешнее впечатление не в силах сбить их с этого направления или пробудить в них новую мысль. Говорить с такими господами – то же, что писать на песке: следы стираются почти мгновенно. Конечно, такое старчество – не что иное, как смерть. – Природа словно хотела символизировать наступление второго детства, в старости третьим прорезыванием зубов, что, хотя и редко, но встречается.

Прогрессивная убыль всех сил с приближением старости – явление, конечно, печальное, но необходимое, даже благотворное, ибо иначе смерть, которой эта убыль расчищает дорогу, была бы слишком тяжела. Поэтому высшее благо, какое нам дает очень глубокая старость, – это чрезвычайно легкое умирание, не вызванное никакими болезнями, без всяких страданий – смерть совсем не чувствительная, описание которой можно найти во II томе моего главного труда (гл. 41).

В Ветхом Завете (псалом 90, 10) продолжительность жизни определяется в 70, самое большее в 80 лет, и что еще важнее, – Геродот (I, 32 и III, 22) говорит то же самое. Но это неверно и основывается на грубом, поверхностном толковании каждодневного опыта. Ведь если бы естественная продолжительность жизни была 70 – 80 лет, то люди умирали бы в эти года от старости; на самом же деле – не так: они в этом возрасте, как и в более молодом, умирают от болезней, а так как болезнь есть очевидная аномалия, то такую смерть нельзя назвать естественной. В сущности век человека – 90 – 100 лет; в эти годы люди умирают только от старости, без болезней, без хрипа, без судорог, без предсмертной борьбы, иногда даже не бледнея, большей частью сидя, после еды: они, собственно, даже не умирают, а просто перестают жить. Смерть раньше этого возраста вызывается лишь болезнями, а потому преждевременна. Упанишады вполне правы, определяя естественную продолжительность жизни в 100 лет.

Человеческую жизнь нельзя, в сущности, назвать ни длинной, ни короткой<sup>34</sup>, так как, в сущности, она именно и служит масштабом, которым мы измеряем все остальные сроки.

Различие юности и старости в том, что у первой в перспективе – жизнь, у второй – смерть, что первая имеет короткое прошлое и долгое будущее, вторая – наоборот. Правда, старик имеет лишь смерть перед собою, у юноши же впереди – жизнь; но еще вопрос, что привлекательнее, и не лучше ли, вообще говоря, иметь жизнь позади, чем пред собою? Ведь сказано же в Экклезиасте (7, 2): «День смерти лучше дня рождения». Во всяком случае желать прожить очень долго – желание весьма смелое; недаром испанская поговорка говорит: «кто долго живет

– видит много зла».

Правда, вопреки астрологии, судьба отдельного человека не бывает начертана на планетах, но они указывают жизненный путь «человека вообще», в том смысле, что каждому возрасту соответствует какая-нибудь планета и таким образом, жизнь проходит под влиянием всех планет поочередно. – В десять лет нами управляет Меркурий. Подобно этой планете, человек быстро и свободно движется в очень небольшом круге; незначительные мелочи способны его взволновать; но учится он много и легко, под руководством бога хитрости и красноречия. С двенадцатым годом наступает царство Венеры; юношей всецело овладевают любовь и женщины. – На тридцатом году мы находимся под влиянием Марса; человек становится резким, сильным, смелым, воинственным и гордым. – В сорок лет мы под действием четырех планетоид; поле жизни как бы расширяется, мы служим полезному под влиянием Цереры, имеем собственный очаг в силу влияния Весты, научились, благодаря Палладе, тому, что следовало знать и подобно Юноне в доме царит супруга<sup>35</sup>. В пятьдесят лет над нами владевает Юпитер. Человек пережил большинство современников, и чувствует свое превосходство над новым поколением. Он еще сохранил все свои силы, богат опытом и знаниями; в зависимости от личных данных и положения своего он имеет тот или иной авторитет у окружающих. Он не хочет более повиноваться, а желает сам повелевать. Теперь он больше всего пригоден к тому, чтобы стать руководителем, правителем в той или иной сфере. 50 лет – апогей человека. На шестидесятом году настает время Сатурна, является свинцовая тяжесть, медлительность и инертность:

«Люди старые – что мертвецы, Недвижны, вялы, бледны – как свинец».

(«Ромео и Джульетта». Действие II, сцена 5)

Наконец является Уран; тогда, как говорят, пора идти на небо. Нептуна, названного так по недомыслию, я не могу упомянуть здесь, раз нельзя назвать его по-настоящему имени – Эросом; не то я постарался бы показать, как конец соединяется с началом, каким образом Эрос оказывается в тайной связи со смертью и как, в силу этой связи, подземное царство Оркус или Амантес египтян (Plutarch, de Iside et Os., с. 29) оказывается не только берущим, отнимающим, но и дающим, так что смерть является творцом жизни. Именно из этого Оркуса рождается все; в нем находилось все, что живет ныне; если бы только нам удалось понять фокус, посредством чего это происходит, тогда все стало бы ясным.

---

34 Как бы долго мы ни жили, мы не обладаем полностью ничем, кроме нераздельного настоящего; ибо воспоминания наши больше теряют вследствие забывчивости, нежели обогащаются накоплением новых материалов.

35 О других 60 приблизительно планетоидах, недавно открытых, я и слышать не желаю. Я поступаю с ними так, как профессора философии со мною. Я их игнорирую потому, что с моими рассуждениями они не согласуются.